

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ

ЦК ВЛКСМ

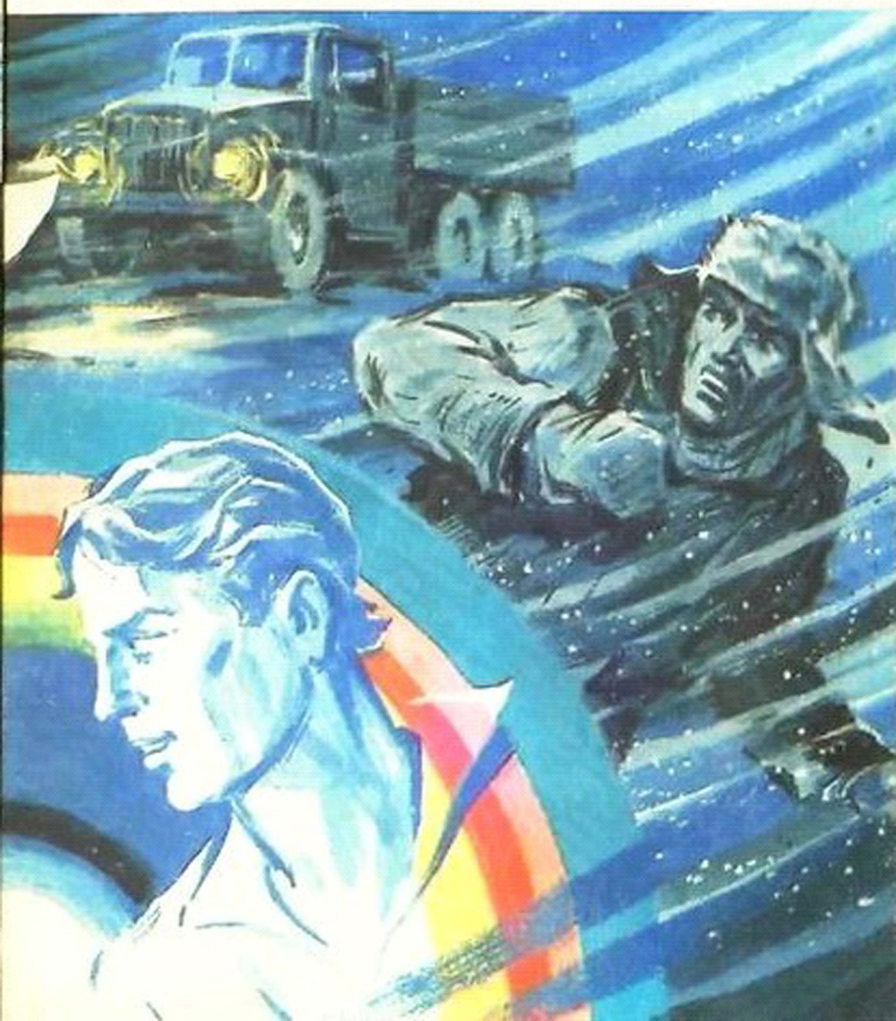
ВОКРУГ СВЕТА

И

СКАТЕЛЬ

1

ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1979





ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
ЦК ВЛКСМ
ВОКРУГ СВЕТА

Искатель

1

ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1979

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий ПЕРЕСУНЬКО — В ночь на двадцатое . . .	2
А. ТОРОСОВ — Следующий день	48
Гюнтер ШПРАНГЕР — На прекрасном голубом Дунае	64

№ 109

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

© «Искатель», 1979 год.



Юрий ПЕРЕСУНЬКО

В НОЧЬ НА ДВАДЦАТОЕ

Повесть

I

В полупустом гараже было тепло и уютно. Вдоль стен сухо потрескивали отопительные батареи, и даже не верилось, что за порогом метет занозистая поземка, а столбик термометра давным-давно упал за ярко-красную отметку —50°. Рабочий день уже кончился, и гулкую тишину гаража нарушал только Колька Митрохин, который все еще возился под «газоном», подтягивая разносившиеся рессоры.

Механик Семенов недовольно покосился на парня, который без году неделя как работал в гараже, посмотрел на часы — стрелки показывали семь.

«Тоже мне — ударник! — с непонятной злостью подумал Семенов. — Хоть бы навар имел, а то так, за здорово живешь перерабатывает. — Семенов зло сплюнул на бетонный пол, пнул тяжелый скат ЗИЛа. — Ишь чего придумали! Ремонт машин спалить на механиков и слесарей, а шоферов — на заготовку леса, рабочих рук, видите ли, не хватает».

Семенов поднялся в кабину ЗИЛа, собрал свой инструмент, разбросанный на сиденьях, сложил его в замасленный чемоданчик. В голове опять замельтешило накипевшее.

«А Жарков-то, сосунок... Вместо того, чтобы самому под машиной повозиться, указание ценное выдал: ты, мол, Петрович, пкладыши проверь, стук иной раз появляется. Ишь ты, проверь, — распалаял себя Семенов. — Возьми да сам и проверь. Маленькую профилактику тебе сделал, и будь доволен».

Он прыгнул с подножки, хлопнув дверцей так, что лязгнула металлическая обшивка.

Из-под «газона» высунулся Митрохин, спросил:

— Ты чего?

Семенов скосил глаза на слесаря, с трудом сдержался, чтобы не сказать ему чего-нибудь эдакого, тяжело зашагал в отгороженную конторку завгара. Там он подошел к телефону, сказал глухо в трубку:

— Соедини-ка меня с квартирой завгара.

В мембране послышался щелчок, длинные гудки, затем знакомый голос сказал:

— Я слушаю.

— Лексеич! Это Семенов говорит. Можешь снимать с ямы жарковский ЗИЛ. Да, полный порядок. Ни хрена там не стучит. Просто за машиной следить надо. Вот, вот, и я о том же говорю. Так что я домой пошел.

Семенов услышал отбой, но все держал трубку. В голове зрело какое-то решение, смутное, неуловимое. Он постучал пальцем по рычажкам, вызывая телефонистку.

— Алле, узел? Слушай, красавица, соедини-ка меня с Магаданом. Что? Связи нет? Обрыв? А когда будет? Все понятно. Завтра ремонтную бригаду вышлете, а через три дня связь дадите. Работнички... Работать, говорю, надо, а не резолюции выносить.

Семенов со злостью бросил трубку и зашагал по бетонному полу гаража к выходу. Волна морозного воздуха ударила в лицо, захлестнула дыхание. Семенов, позабывший надеть рукавицы, сунул вмиг озябшие руки в карманы полушубка, остановился, всматриваясь в темноту поселка. Недавний страшной силы буран, упавший на Красногорье, завалил чуть ли не до окон приземистое общежитие строителей, выровнял, словно сотня бульдозеров поработала над планировкой, строительную площадку будущего комбината, где закладывался нулевой цикл. Теперь снега не было, но все такой же свирепый ветер свистел и гудел над поселком, изо всех сил раскачивал уличные фонари.

Кое-где вызвездилось безлунное небо, и Семенов невольно передернул плечами, представив себя в такую ночь в далеком рейсе. А ведь три дня назад в Магадан за грузом по автозимнику ушла колонна тяжелых машин; один только ЗИЛ Жаркова

торчал на ремонте. «Интересно, успели они проскочить перевал?» — невольно подумал Семенов. И вдруг новая волна непонятной злости захлестнула его.

«Сопляки хреновы, — мысленно выругался он. — Стройка только начинается, а им уже и типовые общежития, и паровое отопление, даже плиты электрические с конфорками. Работнички...»

Где-то в глубине души Семенов понимал причину своей злобы: эти слесаришки с комсомольскими билетами в карманах предупредили его, что если он еще хоть раз возьмет с шоферов деньги за ремонт, то они вынесут этот вопрос на профсоюзное собрание.

«Щенки! Думают, что я им за один оклад вкалывать буду!»

Семенов поднял воротник, пошел к выездным воротам. Остановился около навеса, под которым раскачивалась лампочка, посмотрел на термометр, примощенный в закутке, удивленно покачал головой — спиртовой столбик стоял на отметке —53°.

II

Тягучая от гнетущего мороза ночь медленно опускалась на Красногорье, совсем еще небольшой поселок строителей, затерявшийся среди безбрежья колымской тайги. Мороз и обрушившийся с Северного Ледовитого океана ветер своей жестокой мощью давили на этот клочок земли, где должны были вырасти корпуса обогатительного комбината. Ветер гудел над тайгой, над отрогами хребта, до дна высушивая перемерзшие ручейки и речушки, выворачивая и сдвигая устоявшиеся наледы больших рек. С оглушительным треском лопались деревья, пряталось под снег и в свои норы таежное зверье.

Намаявшись за день, спали красногорцы, еще не зная, что ждет их этой ночью.

Телефонный звонок долго и вездливо звонил над самым ухом. Начальник строительства Красногорского обогатительного комбината Михаил Михайлович Мартынов включил ночник, посмотрел на часы: стрелки показывали двадцать минут второго. Нашарив под кроватью тапочки, прошлепал к телефону. Поднял трубку, спросил недовольно:

— Ну?

— Михаил Михалыч? Это Лукьянов говорит, механик с котельной. Чепе, товарищ Мартынов, водоприемные насосы воду не дают. Котлы работают на пределе.

— Что-о?! — Мартынов почувствовал, как волна крови ударила в голову, стало трудно дышать.

Проснулась жена. Приподнявшись, недоуменно посмотрела на мужа, спросила глухим от сна голосом:

— Что там?

Мартынов отмахнулся от нее и, пытаясь собраться с мыслями, сказал в трубку:

— Слушай, Лукьянов, срочно направь кочегаров к водоприемнику, пусть долбят разведочную майну. Сейчас я приду

в котельную. Если воды хватать не будет, отключи управленческий блок, гараж, мастерские. Все!

Мартынов бросил телефонную трубку на рычажки, ладонью растер левую сторону груди: в последние годы все чаще давало знать о себе сердце. Врачи запрещали курить, перегружать себя работой, волноваться, нервничать, а как быть спокойным, когда... Мартынов закурил, закашлялся, ткнул окурок в пепельницу, держась за грудь, потрогал отопительные батареи. Они были еще теплыми.

— Случилось чего, Миша?

Тревожный голос жены вывел Мартынова из забытья.

— Похоже, да. Если только трубопровод не засорился, значит, дело дрянь, Алена. Котельная может остаться без воды. Жена привстала на кровати, сказала беспечно:

— Ну и что?..

— Помолчи! — оборвал ее Мартынов. — Я пойду в котельную, затем к водозаборнику, а ты срочно обзвони ведущий управленческий персонал и вызови Старостина. Чтобы все немедленно собрались у меня в кабинете. Парторгу не звони: он с колонной машин уехал в Магадан.

От ручья Профсоюзный, из которого насосы качали воду для котельной, до управленческого блока, где размещалась контора, было не больше километра, но Мартынову казалось, что этому километру никогда не будет конца. Согнувшись и закрывая лицо от жалящего ветра, порой утопая по пояс в снегу, он упрямо продирался вперед, выискивая в черноте безлунной ночи редкие поселковые огоньки. Предательски покалывало сердце, но Мартынов старался не обращать на это внимания, лихорадочно соображая, как выйти из того положения, в котором оказался поселок, да и все строительство комбината. В голове все время звучали слова кочегара, сказанные у только что выдолбленной разведочной майны: «Хреновые дела, Михалыч, речка-то до дна промерзла». Мартынов не сразу поверил — уж слишком страшным было это известие, — схватил водомерную рейку, сунул в прорубь, быстро вытащил, поднес к костру — вода захватила самый кончик рейки. «Да, нешуточное дело, — говорил кочегар. — В котлах вода еще есть, так что кое-какое время продержимся, а там что-то надо решать. Трубопровод уже прихватило».

Закрутившаяся снежной спиралью поземка жгучими колючками дохнула в лицо, заставила зажмуриться, прикрыть лицо руками. Это вывело Мартынова из полузабытья, и он почти побежал к светящимся окнам конторы, ожесточенно растирая рукавицей онемевшие щеки, нос, лоб.

Кабинет начальника строительства тревожно гудел разноголосым гулом. Никто не знал, зачем их вытащили из теплых постелей в два часа ночи. Увидев Мартынова, люди в какую-то секунду притихли, но затем тревожный гул взорвался вновь с удвоенной силой. На Мартынова посыпались вопросы, но он молча прошел к батареям отопления, потрогал их. Радиаторы были еще теплыми.

Все так же молча Мартынов снял полушубок, шапку, шарф,

повесил все это на вешалку. Затем прошел к своему креслу, сел в него, окинул взором собравшихся, сказал негромко:

— Поселок на грани катастрофы. Почти полностью вымерз ручей Профсоюзный. Котельная держится на последнем запасе воды. А это значит, что скоро люди останутся без тепла, все равно что без жилья в шестидесятиградусный мороз.

На какое-то мгновение в кабинете стало до жути тихо, и слышно было, как завывает ветер под стрехами крыши. Потом вдруг кто-то вскочил, потрогал батареи, и кабинет взорвался гулом голосов.

— Тише, тише, товарищи! — Мартынов ожесточенно растер левую сторону груди, встал. — В панику вдаваться нечего, а вот найти общее дельное решение необходимо. За вами слово, Виктор Евгеньевич.

Все, как один, повернулись к главному инженеру, словно лишь от него сейчас зависела судьба Красногорья.

Яшунин исподлобья оглядел собравшихся, поиграл крутыми желваками, сказал глухо:

— Решение здесь возможно только одно: делать водоприемную врезку на реке и вести туда новый трубопровод. А вообще-то, Михаил Михайлович, об этом нужно было кое-кому раньше подумать.

Мартынов посмотрел на Яшунина, сказал усталым голосом:

— Об этом мы в следующий раз поговорим, тем более что насосная и трубопровод строились по техническому проекту. Ну а что касается существа вопроса, то ведь это на целых триста метров длиннее!.. А где трубы взять?

— Значит, придется кусками размораживать старый трубопровод, резать трубы и стыковать их на новой трассе водовода. Правда, на это уйдет не менее двух суток, страшных суток.

— Двое суток... — Мартынов задумчиво потер переносицу, посмотрел на притихших людей. — Двое суток... Но мы не можем на двое суток оставить без тепла ясли, детсад, больницу, школу, тем более что в этих домах, как, впрочем, и в остальных, нет печей.

— У нас же есть водовозка, Михал Михалыч. — Спокойный голос завгара разрядил сгущающуюся тишину. — Она сможет обеспечить хотя бы один котел. И если отключить все другие теплотрассы, то этого, я думаю, хватит на обогрев яслей, садика да и больницы, наверное.

— Это какой-никакой выход. Но ведь двое суток... — Мартынов исподлобья посмотрел на Антона Старостина, спросил глухо: — Ну что, комсомол? Стройка комсомольская, почти три четверти рабочих — молодежь, выдержите?

Молчавший до этого Антон поднялся, сказал угрюмо:

— Комсомол выдержит.

— Комсомол-то, может, и выдержит, — взорвался пачальник отдела снабжения, — а из чего будем водовод делать? Труб, что на складе, дай бог метров на двести наскрести. Весь запас на перевалочной базе, а это восемьдесят километров по зимнику. Кто их оттуда привезет, когда буквально все машины ушли в Магадан за грузом? — Он замолчал, зло

покрутил головой, как бы освобождаясь от душившего шарфа, добавил на одном выдохе: — Вот уж верно говорят, что одна беда в дом не приходит. Как назло, и телефонная связь оборвана. Так бы можно было дозвониться до базы.

— Есть у нас один ЗИЛ, — перебил снабженца завгар. — Прекрасная, высокопроходимая машина, только что с ремонта, да и шофер — дай бог чтобы все такие были. Он и поедет за трубами.

Мартынов почувствовал, как что-то тяжелое, давящее отлегло от сердца.

— Так и порешили, — сказал он. — Вы, Владимир Алексеевич, немедленно отправляйте ЗИЛ на базу. Кстати, не забудьте дать шоферу напарника. Всем остальным идти по общежитиям и домам и будить людей. Моим заместителем на это время назначаю начальника комсомольского штаба стройки Антона Старостина.

III

Излучина реки круто вильнула влево и, прижимаясь к обрывистой скале, начала медленно обходить огромную, поросшую стлаником и редкими листовницами сопку, которая, казалось, назло выперла в этом месте, чтобы заставить реку попетлять в отрогах хребта, удлиннить и без того длинный автотрассник.

В четыре утра, едва успев разогреть двигатель, выехал из гаража Сергей Жарков, поди уж час как в пути, а ЗИЛ прошел едва километров двадцать. Пронесшийся снежный буран начисто перемел наезженную колею, оставив после себя непроходимые заструги, тяжелые шапки сугробов. Хорошо еще, что колонна машин ушла в Магадан за день до пурги, а то сидеть бы им на перевале, ожидая «летней» погоды.

Урча и словно утка переваливаясь с боку на бок, ЗИЛ Жаркова медленно продирался по снежной целине. Сергей покопился на заснувшего Митрохина, включил дальний свет. Сразу тысячами светлячков вспыхнули снежинки. «Сюда бы художников да туристов возить, будь морозец градусов на сорок поменьше, — почему-то подумал Жарков. — Вот она, красотища-то какая! Ни в одном кино не увидишь».

Неожиданно машину тряхнуло, на какое-то мгновение она остановилась, словно раздумывая, стоит ли продираться дальше. Сергей включил демультипликатор, и ЗИЛ, надрывно урча, начал медленно карабкаться вперед, подминая под себя сугроб.

Проснулся Колька Митрохин. Открыв сначала один глаз, затем второй, он ошалело затряс головой, спросил хриплым со сна голосом:

— Сколько уже?

— Пять.

Митрохин прищурился, высматривая в свете фар обрывистые склоны сопки, с досадой покрутил головой.

— Глухарина?

— Она самая.

— Как черепахи ползем.

Сергей помолчал, резко крутанул баранку. Кажется, он съехал со старой колеи, и теперь ЗИЛ упрямо продирался по глубокому снегу, спотыкаясь на застругах, вырывая из рук непослушную баранку. Машина натужно редела, но все это было бы полбеды, если бы не резко упавшее давление масла.

И тут в ровном гуле двигателя Сергей уловил какой-то новый звук. Не веря самому себе, он повернулся к Митрохину.

— Ты ничего не слышишь?

— Н-нет. А что?

— Вроде бы стук.

Николай закрыл глаза, подался вперед.

— Вроде бы что-то есть...

— Вот сволочь! — Сергей ударил кулаком по баранке. — Вернемся обратно, при всех ему морду набью.

— Кому это?

— Да механик, сволочь, машину из ремонта выпустил, а вкладыши, видно, не заменил.

— Дела-а...

Впереди в свете фар вырос огромный сугроб. ЗИЛ взревел, остановился. Сергей подал рычаг раздаточной коробки и почти физически ощутил, как машина сантиметр за сантиметром прокладывает себе первопутки.

Не выпуская баранки, Сергей открыл дверцу, пытаясь рассмотреть дорогу, встал на подножку. Пронизывающий ветер ворвался в кабину, в секунду выстудил ее тепло.

— Вот погодка. Даже высунуться нельзя. — Он захлопнул дверцу, подул на пальцы. — Вмиг прихватывает.

— Погодка... — уважительно сказал Митрохин. Он поежился в своем поношенном солдатском бушлате, откинул со лба белобрысую прядь волос. — Я уже год на стройке, а и не слышал, что может быть такое: мороз под шестьдесят и ветрище...

— А я здесь, можно сказать, с первого колышка. — Сергей, не выпуская баранки, ловко достал из пачки папиросу, чиркнул спичкой, прикуривая. Горьковато-сладкий запах табака наполнил кабину. Жарков затынулся, кивнул Николаю: кури.

— А я не курю, — сказал Митрохин. — Бросил еще в армии.

— Молоде-ец, — Сергей с одобрением посмотрел на Кольку. — А я несколько раз собирался бросить, да все никак не получается. А надо бы. Наташка ругается, говорит: всю комнату прокурил.

— Она у тебя в отпуске, что ли?

— Ну да. На материк с Борькой уехала. Я тоже хотел вместе с ними махнуть, да начальство не отпустило. Ну ничего. Через месяц встречать буду. А Борька там пока останется. Теща ругается на Наташку, говорит: куда в такой холод мальца повезешь?

— Правильно...

В кабине опять стало тепло, Колька расстегнул бушлат.

— Давай покручу? — предложил он, кивнув на баранку.

— Обожди. Вот в тайгу въедем, дорога полегче станет, тогда... — сказал Сергей и сморщился как от зубной боли, прислушиваясь к усиливающемуся стуку.

Теперь уже двигатель «молотил» основательно, и не надо было особо вслушиваться, чтобы определить поломку. Резко упало давление масла.

От досады на самого себя, на халтурщика-механика, который поленился заменить вкладыши и не предупредил его об этом, Сергей зло крутил баранку, высматривая дорогу в тусклом свете фар. Где-то в подсознании лихорадочно билась мысль: «Сколько еще? Километр? Два? А потом?.. Есть запасные вкладыши и прокладки, да толку-то?.. Даже в гараже на этот ремонт ушло бы три часа...»

Сергей, прищурившись, всмотрелся в полосу бежавшего впереди света, чертыхнулся: перед радиатором опять вырос снежный нанос. Резко крутанув баранку вправо, он, не включая демультипликатора, на скорости проскочил нанос; полоса света вырвала из темноты заснеженный распадок сопки, поросший на склонах чахлыми листовницами, каким-то чудом схватившимися корнями за каменные осыпи. И ни одного звериного или птичьего следа! Нетронутая снежная целина тысячами блестящих искорок светилась под светом фар.

— Березовый?

Ушедший в себя Сергей вздрогнул, услышав голос Николая, ржал плотно сомкнутые губы.

— Он самый.

От этого ручья до въезда в тайгу оставалось километров десять.

На какое-то время в кабине опять наступило тягостное молчание, перебиваемое лязгающими ударами. Казалось, что мотор пошел вразнос и еще секунда-другая — и вся эта конструкция из болтов и гаек развалится и отойдет синим дымком.

Митрохин повернулся к Сергею, спросил с надеждой:

— Может, дотащимся до базы? — Он неопределенно кивнул на лобовое стекло.

Сергей помолчал, вслушиваясь в лязгающие ритмичные удары, покачал головой.

— Вряд ли. А рисковать нельзя — коленвал заклинит.

— Но... — Митрохин тронул Сергея за рукав. — Попробуй, Серега. — Он сглотнул комок, подступивший к горлу. — Ведь погибнем же здесь, к чертовой матери. Вкладыши нам здесь не поменять — замерзнем на ветру. Ведь всего полста километров, — уговаривал он.

Жарков молча гнал машину вперед. Теперь он уже не обращал внимания на Митрохина, что-то говорящего вполголоса, и только со страхом прислушивался к усиливающемуся стуку в двигателе.

ЗИЛ проскочил еще один распадок, полосой света выхватил из темноты крутой, почерневший и потрескавшийся от мороза склон сопки на правом берегу. Брусничная. Отсюда до по-

ворота, где зимник сворачивал в тайгу, оставалось километров семь.

Неожиданно Сергею послышалось, будто стук в двигателе усилился. Он сбросил газ, переключил скорость. Точно, мотор молотил вовсю, заставляя сжиматься сердце от тяжелого предчувствия. В голове вихрем полетели мысли: «Может, пронесет? А если заклинит? Тогда все? А как же трубы? Ведь его ждут в поселке. Ну, Серега, решайся!»

Сергей искоса посмотрел на Митрохина, выключил дальний свет, проехал еще метров десять, остановился. Митрохин ошалеело повернулся к Жаркову.

— Чего это ты надумал?

И тогда лишь, когда Сергей медленно, словно раздумывая, опустил руки, он вскинулся, потянулся к баранке. Торопясь и глотая слова, затараторил зло:

— Ты это брось душить. Давай я покручу, а ты на моем месте посиди...

— Ну-ка убери лапы! — Жарков шевельнул широкими плечами, отесняя Митрохина, сказал глухо: — Надо проверить двигатель на других режимах. Может, и не вкладыши. — Он плотнее запахнул полушубок, с тоской посмотрел в боковое стекло, за которым чернел пугающий провал ночи. Если бы не эта авария в поселке, можно было бы плюнуть на все и гнать машину до предела — пока коленвал не заклинит. Но сейчас нельзя. Нельзя! Нельзя рисковать. ЗИЛ нужен живой. Он должен добраться до базы, а затем вернуться в Красноегорье.

Тугая плотная волна морозного воздуха обожгла лицо, забила дыхание. Сергей прыгнул в снег, захлопнул дверцу кабины. В этом месте снег был глубокий, по колено, и чтобы не набрать его в валенки, пришлось вышагивать по-журавлиному, протаптывая дорожку к передку.

Не успевший остыть радиатор приятно отдавал теплом. Сергей открыл капот и высветил переносной лампочкой работающий на малых оборотах двигатель. «Чем черт не шутит! Может быть, вовсе и не из-за вкладышей молотит движок?»

Вытянувшееся лицо Митрохина за ветровым стеклом замерло в ожидании. Сергей махнул ему рукой — мотор взревел, потом заговорил, заурчал глухо. Здесь был полный порядок. Даже профан-автолюбитель мог догадаться, что двигатель ни при чем и придется снимать поддон картера.

Жарков медленно сматал лоснящийся от масла провод переноски, закрыл капот, посмотрел на часы. Надежный «Маяк» показывал двадцать минут шестого, и до рассвета оставалось еще три часа. Сергей прислонился к подрагивающему радиатору, посмотрел на усыпанное холодными мерцающими звездами небо. Вчера вечером оно еще было затянуто лохматыми обрывками туч, и это все же сдерживало мороз. Сейчас распогодилось, а значит, и мороза прибавилось. Видно, правду люди говорят: беда в одиночку не ходит. Быстро, стараясь не выпустить тепло, Сергей юркнул в дверцу. В пропахшей шоферским духом кабине было тепло и уютно. Не хотелось думать ни о морозе, на который надо было вылезать, ни о сволоте-механике, выпустившем ЗИЛ в рейс.

— Ну что там? — не выдержал затянувшегося молчания Митрохин.

Жарков молча откинулся на потертую, замасленную кожу подушки, снял рукавицы, стащил папку-ушанку.

— Дело дрянь, Никола. Движок в порядке, придется поддон снимать. — Он положил руку на баранку, широкой ладонью накрыл черный набалдашник переключателя скоростей. — Давай решать, что делать будем.

— Та-ак значит... — Митрохин повернулся к Жаркову, вдруг как-то странно, с испугом посмотрел на него, сказал, растягивая слова: — Значит, вкладыши... Ты не засек по часам, сколько проторчал там?

— Ну-у... — замялся Сергей, — минут пять...

— Вот-вот. А теперь посмотри на свое лицо. — Митрохин сунул руку в ящичек для вещей, вытащил оттуда зеркальце, протянул Жаркову. — Полюбуйся!

Щеки и кончик носа были совершенно белыми. Сергей не торопясь положил зеркальце обратно, начал растирать лицо.

— Что делать будем? Если действительно полетели вкладыши, то коленвал на любом километре заклинить может.

— Слушай, Сережа! А вдруг на базе есть машины? — Николай всем корпусом крутанулся к Жаркову, в его глазах запылали радостные огоньки. — Должны быть. Хоть одна... Из этого драндулета надо выжать все возможное, и если он накроется, то остаток пути идти пешком...

— А если нет? — тихо спросил Сергей.

— Чего? — не понял Митрохин.

— Машины, которая смогла бы заменить этот «драндулет».

Жарков включил дальний свет, медленно выжал сцепление, переключил скорость... ЗИЛ мягко тронулся с места, проехал еще метров двести, уперся передком в выросшую на пути белоснежную стену сугроба.

— У нас же с тобой ни крошки хлеба, — жалобно сказал Митрохин.

— Ничего, Колька, не отощаем. Там, — он кивнул через плечо, — сейчас гораздо хуже.

IV

— Алло, узел? Дежурная... — Мартынов ожесточенно постучал по рычажкам телефонного аппарата, не глядя на собравшихся в кабинете людей, сказал со злостью: — Да где же ее черти посят?!

Наконец черная эбонитовая трубка издала легкое потрескивание и монотонный голос телефонистки произнес:

— Дежурная слушает.

Стараясь не сорваться, Мартынов глубоко вздохнул, откашлялся, сказал глухо:

— С базой связь есть?

— Это вы, Михаил Михайлович? Извините, не узнала. — Только что монотонный голос приобрел краски, стал полуизвиняющимся: — Нет еще, товарищ Мартынов.

— Так какого же черта вы там возитесь?! — не выдержал он.

В трубке на мгновение замолчали, потом обиженный голос телефонистки произнес:

— Ребята на линию вышли еще утром. Страшно тяжелые условия.

— Ладно, извини. Как будет связь, сразу же дай мне знать.

Мартынов положил трубку, подул на озябшие пальцы. В когда-то теплом кабинете сейчас было почти так же холодно, как и на улице; оставшаяся в графине вода превратилась в лед, расколов графин надвое. Мартынов остановил взгляд на завгаре, спросил, прикрыв покрасневшие от дыма костров веки:

— Сколько времени понадобится Жаркову?

— Не знаю. — Завгар виновато пожал покатыми плечами. — Всяко возможно... Если не застрянут — часов семь-восемь.

— Когда Жарков выехал из гаража?

Какое-то время в кабинете стояла тишина. Нахохлившись, неподвижно сидел на стуле завгар. Видно было, как он сглотнул слюну, сказал вяло:

— Да уж часов тринадцать...

От этих слов все зашевелились, кто-то крикнул с досады, а главный инженер пробасил возмущенно:

— Тринадцать... Когда до базы каких-то восемьдесят километров. Неужели застряли?

— Да не-ет. Жарков не первый год за рулем, да и ЗИЛ его — что вездеход по снегу прет, — заволновался завгар.

— Надежная машина, — добавил кто-то. — Из ремонта только что вышла.

— А может, мы зря волнуемся? Может, он еще грузится? — донеслось из дальнего конца кабинета. — Ведь на базе нужно вещь найти, так это...

— Трубы не иглока в стог сена! — взвился начальник отдела снабжения. — Другое дело — погрузка...

— Ну что ж, будем ждать. — Мартынов медленно снял меховые перчатки, достал из кармана полушубка сигареты, закурил, выпустив колечко дыма. Задержка Жаркова уже начала беспокоить его. Хоть снимай с трубопровода бульдозер. Но сейчас об этом не могло бы и речи. — Прошу докладывать, как идут работы на водоводе. Давай ты первым, Виктор Евгеньевич.

Главный инженер устало поднялся со стула, тыльной стороной ладони потер воспаленные глаза.

— Чего докладывать... Люди от усталости и холода с ног валяются. — Яшунин помолчал. — Но это полбеды, были бы трубы, а их все равно нет...

Мартынов внимательно посмотрел на Яшунина, тихо спросил:

— Как подстанция?

— Хреново. Нагрузка большая, дизеля еле тянут. Если пойдут вразнос, тогда все полетит к чертовой матери.

— Не надо вдаваться в панику, товарищ главный инженер. — Мартынов демонстративно повернулся к врачу. — Обмороженные есть?

Главврач поселковой больницы, высокая немолодая женщина, откинула со лба прядь седых волос, сказала:

— Есть — это не то слово. Каждый третий, кто работает сейчас на трассе трубопровода, обморожен.

— Почему не отправляете в медпункт?

— А вы сами, товарищ Мартынов, попробуйте их отправить. По-хорошему просишь — отшучиваются, а когда давить начинаешь — такое в ответ слышишь...

Когда все разошлись и кабинет обезлюдел, Мартынов снова принялся тереть грудь: болело сердце. В который раз он пытался осмыслить случившееся, но всякий раз мысли путались, набегали одна на другую, уходило что-то главное. Вроде бы в его действиях, да и всего коллектива стройки, не было ни одной ошибки, и все же...

Такой зимы, как выпала в этом году, не упомнят даже старики. В начале октября подсыпало снежку, и сразу ударили хлесткие морозы. Свирепая день ото дня, стужа сжимала и без того вымороженное русло ручья Профсоюзный, из которого брал воду поселок. Но подумали об этом только в эту роковую ночь на двадцатое декабря. Почему не подумали раньше? Потому что, по всем расчетам, ручей не должен был перемерзнуть. Это было в проекте строительства, к этому привыкли. Сколько лет живут люди у ручья Профсоюзный, и всегда в нем была вода. Но вот случилось непредвиденное, и сразу задохнулся без воды, лопнул главный трубопровод, а вслед за ним полопались радиаторы в общежитиях. Можно было спастись печками. Можно бы, но не предусмотрены печки в типовых общежитиях; и в самом деле, зачем печки, когда хватает паровых котлов и в достатке электроэнергия?!

Мартынов поежился от застоявшегося холода и в который раз посмотрел на телефонную трубку. Была бы связь с перьевой базой, все было бы гораздо проще, а так... Он снова с беспокойством подумал о жарковской машине: тринадцать часов назад вышла на базу — и как в воду канула. Не дай бог застрянет, тогда все: поселку из беды не выбраться.

Неровным мерцающим светом замигала подвешенная к потолку лампочка: похоже было, что люди в домах отогревались электроплитками и самодельными «козлами». Слабенькая подстанция едва тащила на себе весь этот груз, готовая в любой момент опрокинуть поселок в темноту, в печеловеческий холод.

Мартынов тяжело поднялся со стула, негнущимися пальцами застегнул крючки воротника, вышел на крыльцо.

Отсюда, с небольшой возвышенности, на которой удобно разместился П-образный новенький корпус управления стройки, в ясный погожий день хорошо просматривался весь поселок. Сейчас же в сгустившихся сумерках, смешанных с морозной дымкой, едва различались силуэты близлежащих домов. Уличные фонари были отключены, и только редкие огоньки в окнах говорили о том, что в домах еще теплится жизнь. Мартынов с тревогой посмотрел на громоздкое здание котельной, с высокой трубы которой, прибитый ветром, падал

на снег испия-черный дым. Где-то у самой земли его подхватывала колючая поземка и выгоняла на застывшее русло реки, на прибрежные гольцы.

У костров, которые сплошной лентой вытянулись вдоль трубопровода, копошились люди. Разрывая темноту яркими сполохами, гудела электросварка, надрывно урчали бульдозеры, растаскивая по трассе трубы, утеплитель, доски для короба, только что срубленные лесины, идущие на дрова.

По дороге, рассекая слепящими фарами темноту, пронеслась единственная на все Красногорье водовозка. Она лихо развернулась и притормозила у котельной. Из кабинки выскочил шофер, ударил ногой в неказистую дверь кочегарки. В проеме показали два кочегара с гофрированным брезентовым шлангом в руках, начали натягивать его на наконечник сливной трубы. Мартынов растер успевшие за несколько минут опемень щеки и, уткнув подбородок в теплый воротник, подошел к машине. Увидев начальника строительства, Сенька Ежиков, шофер водовозки, подмигнул ему, похлопал толстой рукавицей по обледеневшей бочке.

— А кто-то, Михал Михалыч, говорил, что моего коня списывать падо?

Мартынов, с первого дня запомнивший этого веснушчатого, никогда не унывающего парня в матросском бушлате, прибывшего на стройку по комсомольской путевке, улыбнулся в темноту: когда Ежинову предложили сесть на водовозку, он сначала онемел, а затем, рванув дверь кабинета начальника строительства, влетел в заполненную людьми прокуренную комнату, где шла планерка, и с порога завопил, ударяя кулаком по обнянутой тельняшкой груди: «Это меня?.. Старшину второй статьи... орденосного Тихоокеанского флота — на водовозку?!» На какое-то мгновение в кабинете стало тихо, и вдруг гомерический хохот потряс дощатые стены временки, в которой обосновалась тогда контора строительства. Смеялись долго, и, только когда прорабы и бригадиры отерли слезы, кто-то, кажется Гена Лободов, спросил: «Топор держать в руках можешь?» Ежиков прищурился, опасаясь подвоха, но все же сказал: «Матросы все могут». — «Ну и хорошо — беру тебя в бригаду плотником второго разряда».

Но бывший старшина второй статьи Семен Ежиков, закончивший до армии курсы шоферов, все же предпочел водовозку...

— Так вроде бы ты сам это и говорил, — подначил Ежикова Мартынов.

— Не-е, Михал Михалыч... — закрутил головой Сенька. — Видать, вы меня не поняли. Я говорил, что таких асов, как я, надо пересаживать на «Стратеги». Слух есть, что скоро они к нам прибудут. Новенькие. А водовозку пускай какой-нибудь салажонек осваивает.

— Ну прости... — Мартынов развел руками. — Первый же «Стратег» твоим будет. Обещаю. А сейчас давай, матрос, выручай. От твоего коня жизнь детишек зависит.

Осунувшееся лицо Ежикова сделалось серьезным,

— Матросы не подведут, Михал Михалыч. Тяжеловато, правда, — шестнадцать часов за баранкой.

— Может, попросить кого подменить? Поспишь часок.

— Не. Не могу. Тормоза у моей лошадки поношенные, при таком морозе в любой момент полететь могут. Здесь хозяин нужен.

— Ну, давай, матрос, будь, а мне еще в детсад заглянуть надо. Не дай бог, если и там радиаторы...

Мартынов не отошел и двадцати метров, как вдруг острая боль пронзила левую сторону груди, и он начал медленно оседать на хрустящий снег.

Ежиков, поначалу ничего не понявший, подбежал к ничком лежащему Мартынову, перевернул его на спину, почти закричал:

— Михал Михалыч! Михал Михалы-ыч...

В вязкой темноте он увидел, как беззвучно шевельнулись губы Мартынова, Ежиков наклонился, но ничего не разобрал. Тогда он подхватил Мартынова под руки, волоком потащил к машине...

V

В остуженных шестидесятиградусным морозом механических мастерских было так же холодно, как и на улице. Вдобавок ко всему приходилось работать голыми руками, перебирая негнущимися пальцами выпедший из строя сварочный аппарат. Сейчас, когда сварщики резали на куски перемерзший водовод и отогретыми кусками стыковали новый, на счету была каждая «пушка», как они в шутку называли их. И все-таки здесь было теплее: на бетонном полу плясал огоньками чадающий костер, у которого можно было обогреть застывшие руки.

Обросший клочковатой бородой, почерневший от вьедливой жирной копоти, Семенов выходил на улицу и, засунув руки в карманы, подолгу смотрел в темень. Порой ему казалось, что где-то вдали высвечивались двумя неровными лучами фары машины, и он, пытаясь успокоить радостно бившееся сердце, прикрыв рукавицей слезящиеся от ветра глаза, всматривался в даль, туда, откуда должен был появиться ЗИЛ Жаркова. Но с каждым часом таких надежд оставалось все меньше, и Семенов уже почти не сомневался, что ребята «сели» в пути. Надо было что-то делать, но что? Если бы он сам мог сейчас оказаться там, на продуваемом всеми ветрами зимнике, то смог бы им помочь. «А если уже некому помогать?.. — Эта мысль бросила в жар. — Нет. Нет! Нет!!»

За спиной скрипнула заиндеветшая дверь. Полуобернувшись, Семенов краем глаза увидел, как в освещенном проеме выросла тщедушная фигурка слесаря Матвейча.

— Что, Петрович, живот?.. — спросил Матвейч.

Семенов круто обернулся, бросил зло:

— Пошел ты...

— А-а... Ну, я так и подумал. Чего, думаю, Петрович каждые полчаса на двор бегаешь?.. У тебя, случаем, ключа на пятнадцать не будет?

Успевший успокоиться механик молча кивнул.

— В запаснике лежит.

— Как думаешь, Петрович, вытащим поселок?

Не оборачиваясь и не отвечая, Семенов закрыл глаза, почувствовал, как заходили, заиграли желваки на скулах.

— Вот и я говорю, должны вытащить, — не обращая внимания на молчавшего Семенова, продолжал Матвейч. — Жинка прибегала, ты как раз обедать ходил. Говорит, в детсадике три комнаты только отапливаются. Сбились, говорит, все в кучу, сидят ждут... Да-а, ты слышал? Мартынова прямо на улице инфаркт разбил. Говорят, если бы не Ежиков, замерз был Михалыч.

Матвейч замолчал, как-то незаметно ушел, аккуратно прикрыв обшитую старыми ватниками дверь. Стало слышно, как гуляет ветер под стрехами крыши, тяжелым стоном гудят промерзшие насквозь деревья. И так тошно стало на душе у Семенова, что захотелось рвануть крючки полшубка, содрать с головы тяжелую медвежью шапку и бежать, бежать под этим вымораживающим все живое ветром до тех пор, пока мозги не прочистятся. Ведь это он сам, своими руками выпустил вчера ЗИЛ Жаркова из ремонта. А все ради проклятой десятки ханыги Васькина, «татра» которого, ожидая своей очереди, тоже стояла на яме, а Васькин мыкался, торопясь уйти с колонной в Магадан. Выпустил, даже не сняв поддона картера, не посмотрев. А ведь Серега говорил, говорил, что иногда слышится какой-то посторонний звук и падает давление масла.

Семенов почувствовал, как от холода начинает неметь лицо, принялся яростно растирать его. Потом ударом кулака распахнул низкую, жалобно скрипевшую дверь.

Чадящий костер ярко полыхал посреди мастерской. Ремонтники, видно, объявили перекур, и теперь, кто на чем, расположились вокруг огня, протягивая к телу руки, прикуривая от угольков. Кто-то махнул Семенову: давай, мол, подсаживайся, но он даже не обратил на это внимания, тяжело прошагал в дальний угол мастерской, где стояли отдающие холодом слесарные верстаки. Зажав в тисках заготовку и машинально взяв драчевый напильник, он с хрустом, лишь бы не слышать самого себя, прошелся по железу раз, потом еще... еще... Скрежещущие звуки наполнили мастерскую. Семёнову что-то крикнули от костра, но он даже головы не повернул, продолжая машинально водить напильником по заготовке. Он уже не думал о Жаркове и Митрохине — перед глазами вырос маленький районный городишко Воронежской области, где он закончил училище механизаторов, гаражные мастерские с вечной халтурой и левым приработком. А потом в отпуск с дальнего Охотского побережья приехал его сосед Иван Пахомов, завербовавшийся туда несколько лет назад. Этот-то приезд соседа, его угощения на широкую ногу с красноречивыми рассказами о длинном северном рубле и перевернули всю душу, заставили просыпаться по ночам, подсчитывать существующие только в воображении хрустящие десятки и прикидывать, что на них можно купить, «ежели повести дело с умом». Он уже не мог спокойно жить и

только ждал часа, когда закончится необыкновенно длинный отпуск Ивана и они вдвоем, как и обещал сосед, сядут в удобные кресла самолета. Долгожданный день настал...

Семенов зло усмехнулся: вот он, день-то, и настал. И еще поднажал на напильник, отчего железяка, зажатая в тисках, отчаянно взвизгнула.

— Ты бы так когда надо работал, — раздалось за спиной.

Семенов вздрогнул от неожиданности, не выпуская напильника из рук, круто обернулся, тяжело посмотрел на стоящего перед ним бригадира слесарей.

— Чего, говорю, скрипишь понапрасну? Совесть, что ли, грызет?

Застилающая глаза ненависть бросила Семенова в жар. До боли закусил губу, закрыл глаза. А мозги, словно раскаленное шило, сверлил вопрос: «Что он хотел этим сказать? Что-о? Неужели догадывается о ЗИЛе Жаркова? Не-ет, это надо еще доказать. Доказа-ать!..»

VI

Ночи, казалось, не будет конца. Сшибающий с ног буран приутих, но колючая поземка забивала дыхание, заставляла то и дело растирать немеющие щеки, нос. Хотелось выть по-волчьи, глядя на мерцающие холодным блеском звезды, безжизненную черноту тайги. Хотя бы луна выглянула, и то было бы веселей.

Где-то на левом берегу, не выдержав мороза, звонко лопнула лиственница, и эхо покатилося над заснеженной целиной реки. Жарков искоса посмотрел на Митрохина, который расчищал под машиной снег, подивился происшедшей в парне перемене: с тех пор, как они встали на прикол, Николай вроде бы успокоился и теперь методично и аккуратно делал свое дело.

Остатки теплой воды тоненькой струйкой вытекали из системы в подтаявший снег. Под передком расползлось неровное темное блюдце, которое тут же схватывалось ледяной коркой. Чтобы не разморозить машину, пришлось слить всю воду и масло. Жарков в который уже раз растер рукавицей лицо, спросил, пытаясь придать своему голосу как можно больше бодрости:

— Ты сам-то из каких мест, Николай? Вкалываем на одной стройке, а друг о друге ничего не знаем. Непорядок это, как говорил наш прапорщик Рымов. Общаться надо, товарищ, общаться.

— Пообщаешься с тобой, — отозвался Митрохин. — Как же... На танцы ты не ходишь, после работы сразу домой бежишь, к своей Наталье. — Он замолчал, поправил сползающий с лица шарф, добавил глухо: — Тульский я, Веневского района. До армии в колхозе работал. Ну а когда отслужил, то на Север подался. Свет хотелось повидать, да и подзаработать немного.

— Я так и подумал, что в колхозе, — сказал Сергей.

— Почему? — Митрохин даже перестал отбрасывать из-под днища снег, выпрямился обидчиво.

— Да есть в тебе что-то такое... Ну-у, хватка в работе, что ли?

— А-а, — успокоился Колька и, стараясь согреться, размашисто замахал лопатой.

В мерзлой звонкой ночи было слышно, как на одной ноте, словно голодный отошавший волк в зимнюю пору, завывает востер, перебиваемый изредка звонким треском лопнувших деревьев. Высоко в небе серебристым светом мерцали холодные звезды, и среди этой застывшей темноты тускло светились огни безжизненного ЗИЛа. Жарков посмотрел на выпирающую согорбленную спину Митрохина, спросил первое, что пришло в голову, — лишь бы не молчать:

— В пехоте служил?

— Ага.

— А я все два года шоферил. А как дембиль настал, так сюда причалил. По комсомольской путевке. Сам-то я детдомовский, так что особо ехать некуда было.

— А у меня мать в деревне и сеструха помладше. Восьмилетку этим годом заканчивает, — отозвался Митрохин.

— А отец?

Колька еще ожесточенней заработал лопатой, потом выпрямился, сказал зло:

— Отец... Мне еще лет пятнадцать было, когда он в город рванул. С тех самых пор и поминай как звали.

— Помогает хоть?

— Не. Какое там! Да и не в этом дело.

Помолчали. Сергей виновато пожал плечами, переставил канистру с маслом в кузов, чтобы не пролить ненароком, сказал деланно бодрым тоном:

— Ты вот что, Никола. Давай-ка на берег за дровами, без костра мы здесь через полчаса околеем, а я начну поддон снимать.

Очищенная для работы площадка была надежно защищена от пронизывающего ветра толстой стеной снега. Морозцу бы еще поменьше, и можно было бы спокойно приниматься за работу. Сергей растер онемевшие щеки, нос, бросил под машину стеганку, которую постоянно возил с собой, тяжело вздохнув, полез в узкую щель.

От яркого света переносной лампы под машиной было светло и как-то неуютно. Сергей перевернулся на спину, внимательно осмотрел поддон картера. Отполированный свежим снегом, он тускло блестел маслянистыми разводами. То, что полетел какой-то из вкладышей, а может, и не один, Сергей больше не сомневался: слишком характерной была поломка. Откуда-то сверху донесся равномерный перестук — видимо, Колька уже добрался до сушняка и теперь работал топором.

Проваливаясь по пояс в снег, Митрохин обреченно карабкался по отлогому склону левого берега, пытаясь найти в темноте подходящее дерево. Злые слезы закипали на глазах. «Ну зачем он здесь?! Платить стали много?.. Ну и что? Зачем

эти деньги, когда из всех развлечений — только кино да танцы? Да и не захочешь никаких денег, когда «одиннадцать месяцев зима, а остальное — лето». Да и зима не как в Венеции: меньше пятидесяти градусов не бывает. Только бы выжить на этот раз, а там... Мать писала, что шоферы в колхозе позарез нужны. Выжить... Хорошо, если машину удастся исправить, а если нет... Обратно не пойдешь — вмиг обморозишься, ветрило-то вон какой дует, да и до базы еще километров пятьдесят».

Николай без сил опустился на осевший под ним снег, обреченно посмотрел вниз, на реку, где на черном в сумерках покрывале темнел безжизненный ЗИЛ, подсвеченный снизу переносной лампой. В полосе размытого света, разливающегося из-под машины, четко виднелись Серегины валенки.

«Тоже, поди, несладко», — с каким-то удовлетворением подумал Митрохин и медленно поднялся на ноги — надо было рубить сушняк. Он примерился и с размаху вонзил острей в звонкое дерево. Из-под топора вылетел кусок цепи, потом еще... еще... А он, ожесточаясь и сбрасывая с себя нахлынувшую было слабость, рубил и рубил неподатливый звонкий ствол, пытаясь поскорее завалить его в снег. Несколько раз из-за крошечной темноты он промазывал, и тогда топориче глухо чмокалось об искореженный ствол, осушивая руки, острой болью отдаваясь в правом плече. Но он уже не обращал на это внимания и продолжал размашисто работать топором, крикая при каждом хорошем ударе. Наконец подрубленное дерево качнулось, что-то треснуло в его сердцевине, и оно начало медленно падать вдоль отлогого спуска к реке.

Митрохин оглянулся на ЗИЛ, восхищенно покрутил головой: из-под машины все так же торчали валенки Жаркова, за все это время он ни разу не выбрался погреться. Николай засунул топор за пояс, взвалил на плечо насухо выжатый морозом ствол и, глубоко проваливаясь в снег, побрел к машине. Теперь он был почти уверен, что они вдвоем с Серегой выправят поломку и ЗИЛ опять поползет по заснеженной реке.

Где-то на полпути он споткнулся, тяжелый ствол свалился с плеча, и Колька, чтобы хоть немного отдышаться, присел на него. Часто-часто билось сердце, от тяжести ныло плечо, но уже не было того сосущего страха, и он вдруг с непонятной тревогой вспомнил, как мог полгода назад уехать со стройки.

...В тот день на строительстве прошел слух, что по случаю праздника будут давать повышенный аванс, и Николай Митрохин, плотник из комплексной бригады Геннадия Лободова, нетерпеливо стоял в очереди и вытирал о солдатские брюки вспотевшие от волнения руки. Николай давно ждал этого аванса: он написал домой матери, что вышлет ей тридцатку, да и самому надо было приодеться после армии.

— Фамилия, — кассирша подняла голову, посмотрела на парня.

— Митрохин Николай Митрофанович.

Кассирша отыскала в ведомости нужную фамилию, поставила против нее галочку.

— Пятьдесят рублей. Распишись.

Николай ошалело посмотрел на кассиршу, нерешительно взял ручку.

— Вы что?.. Пятьдесят... Может, ошиблись? — Он посмотрел на галочку — против его фамилии стояло: 50 рублей.

В коридоре толпились парни, кто-то хрустел трешниками, отдавая долг. Митрохин нахлобучил солдатскую ушанку, подошел к группе плотников. Сказал зло:

— Да-а, выслал я матери денег. — Он удивленно покрутил головой. — Это ж надо! В марте — сто пятьдесят заработок. Сейчас всего полсотни дали. И это на Севере. Да я в колхозе на тракторе...

— Валишь отсюда надо. А то совсем без штанов останемся. — Высокий парень — Стасик, в щегольской серой кепочке с пуговкой на макушке, хлопнул Николая по плечу. — Давай с нами, Митроха. Компания уже сколотилась. Начальничек заявлениище подмахнет, и... прощай родная стройка. Пускай этот комбинат медведи строят. Они сильные и живут долго.

Первым в кабинет Мартынова ввалился Стасик. За ним гурьбой еще трое парней. Митрохин вошел последним. Стасик со смаком бросил на стол пять заявлений, расплылся в улыбке:

— Подписывай, начальник. Все. Нарботались мы у тебя.

Мартынов взял заявления, прочел каждое в отдельности. Веером бросил на стол.

— Возьмите каждый свое.

Парни замешкались, начали подталкивать друг друга... Через пять минут в кабинете остался только Митрохин. Он робко подошел к столу, пододвинул свое заявление.

— И мне... подпишите.

Мартынов грустно посмотрел на Николая. Он запомнил этого худенького паренька в солдатском бушлате, когда вместе с бригадой Лободова работал на осевшем доме.

— Ну а ты-то что уходишь? Ты, кажется, в бригаде Лободова. У вас же не бригада — золото.

Митрохин переступил с ноги на ногу.

— Шофер я. Буду в Магадане по специальности работать.

— Ну-у... чудак. Ведь это же проще пареной репы. Поплотничай еще немного, а там дорогу отсыпем, нам сотню машин дают — посажу тебя на какую покажешь. Да и деньги будешь хорошие зарабатывать.

Николай отвернулся.

— Не. Уеду я. Подпишите мне заявление.

Вечером Николая сидел у себя в общежитии и собирал свои нехитрые пожитки в чемодан. В комнате жили еще ребята из бригады Лободова, но сегодня в огромной столовой показывали фильм «Стоянка поезда три часа», и дома был только Лободов, огромный, с кудлатой бородой бригадир. Геннадий сидел за столом и зло крутил ручку транзистора. Приемник был старенький и едва брал первую программу, а уж о хорошей музыке и думать было нечего.

— Дурак ты, Колька! — Лободов бросил хрипящий ящичек на стол, повернулся к Митрохину. — Наслушался этих мародеров, вот они тебе мозги и запылили. Серьезно говорю: да-

вай сходим к Мартынову, мужик он хороший, возьмет обратно.

— Не-е, я уже решил. — Митрохин аккуратно уложил в чемодан учебник шофера 2-го класса, закрыл крышку. — На фиг мне эта стройка нужна! Я на машине в любом месте по полторы сотни заработаю. А Стасик говорил, что у геологов вообще по пяти сотен выходит.

— Э-эх ты... У геологов... Хорошо там, где нас нет, а работать везде надо. Ты думаешь, я у поисковиков не пахал? Да и как ты не поймешь, деревня? Апрель месяц, зимник расплзся, строительный материал только на вертолетах забрасывают, а дорогу еще не отсыпали. Откуда же заработку взяться? Да и Мартынов тебе как человеку обещал: пригонят технику — всех он вас, шоферов, на машины и пересадит.

— Не, Гена, не-е. Не останусь я тут.

Дверь из коридора неожиданно распахнулась, в комнату влетел Сенька Ежиков. Он был гладко выбрит и размахивал своим черным флотским клешем.

— Парни, уют есть? — Он потряс брюками. — Хотел вот стрелку навести. Завтра же Первомай. У нас демонстрация будет!

С утра лепил мокрый снег. Низкие черные тучи нависли над Красногорьем и закрыли собой островерхие макушки сопки. А к восьми часам снегопад закончился, в распадок рванул свежий ветер, над балками и первыми двухэтажными домами захлопали набитые тугим ветром флаги. Тучи заложматились, задвигались — в рваные дыры проглянуло солнце. Оно заплясало на искрящемся снегу, разноцветными иглами ударило в глаза. Первый комендант поселка, краснощекая, двухметрового роста Папа Захарова, с деревянной лопатой в руках побежала счищать снег с только что сколоченного помоста, предназначавшегося под трибуну.

Парни из бригады Лободова выпросили у девчонок еще один уют и в порядке общей очереди разглаживали стрелки на парадных брюках. У кроватей стояли нагуталиненные кирзачи.

Митрохин валялся на неприбранной постели и делал вид, что вся эта праздничная суета его меньше всего интересует. Бригадир зло драил свои сапоги сорок шестого размера, потом, видно, не выдержал, с грохотом швырнул их на пол.

— Слушай ты, инженер-экономист, последний раз тебе говорю: давай сходим к Мартынову, он возьмет обратно. А нужны тебе деньги сейчас, так мы всей бригадой сбросимся.

— Да идите вы...

Николай натянул одеяло на голову, закрыл глаза. На душе было тоскливо. Захотелось туда, на демонстрацию, вместе с бригадой.

В под десятого захлопали двери общежитий, на улицу вывалили приодетые парни, разнаряженные девчонки. Митрохин слышал, как его в последний раз нехорошим словом обозвал Лободов, потом хлопнула дверь — под окошком зачавкали сапоги по мокрому снегу. Он полежал под одеялом еще, при-

слушался: в комнате никого не было. Заскрипел панцирной сеткой, слезая с кровати. Подошел к окошку, приоткрыл форточку. Комната наполнилась музыкой, рвущейся из привешенного над магазином здорового репродуктора. Было видно, как маленький пяточок сбоку от сколоченной на ночь трибуны заполнили геологи. Они жили в трех километрах отсюда и пришли посмотреть на невиданное событие. Ребята-геологи тоже были приодеты во все выглаженное, и кирзачи у всех блестели под солнцем.

Николай завистливо вздохнул, посмотрел на себя в зеркало, подвешенное над умывальником, достал помазок, бритву...

А солнце припекало все сильнее. Слепящий снег сразу набух, стал оседать, с крыш зазвенела капель, и Колька увидел, как ровно в десять ноль-ноль на трибуну поднялись Мартынов, Антон Старостин, приглашенные на праздник секретарь райкома партии, лучшие рабочие. Ребята-геологи сунулись было на площадь перед трибуной, но их встретила своей могучей грудью Паша-комендант и оттеснила за невидимую черту: пяточок перед магазином предназначался для организованных демонстрантов.

Митрохин, с порезанным от торопливого бритья лицом, затерявшийся в толпе, услышал, как за поселком в кустарнике взревел один бульдозер, затем еще, еще... Все это слилось в единый сводный хор, динамик утих, геологи выгнули шеи — показалась первая машина, украшенная плакатами и транспарантами. Она шла головной в колонне, а за ней, взрывая блестящими на солнце гусеницами снег, правильным треугольником шли бульдозеры. А потом показались люди. Николай вытянул шею — самым первым, держа древко знамени в одной руке, с развевающейся на ветру бородой, вышагивал Гена Лободов. Кто-то дернул Митрохина за рукав. Ухмыляющийся Стасик кивнул в сторону приближающейся колонны.

— Шо, кореш? Тоже посмотреть притопа? — Он лихо сплюнул в сторону трибуны, добавил: — Демонстрация...

А колонна была уже совсем рядом. Николай оглянулся, увидел, как в торжественном напряжении застыли лица людей, перевел взгляд на поравнявшуюся с ним колонну. Парни были без шапок, подстриженные доморощенными парикмахерами; девчонки что-то кричали и размахивали зелеными ветками стланика с привешенными на них красными бантами. А потом вдруг они разом подтянулись, запели «Широка страна моя родная», и только знаменосцы шли в парадном молчании.

Все остановились перед трибуной. Мартынов дождался, пока подровняется колонна, поднял руку, успокаивая развеселившихся девчонок. Снял шляпу. Ветер подхватил его седые волосы, взлохматил прическу.

— Дорогие товарищи! Сегодня очень радостный день по всей планете, а для нас он радостен в особенности. На месте будущего города, в этих суровых местах, впервые поднят флаг Первоя.

Колька протиснулся сквозь толпу, чтобы лучше слушать Мартынова, приподнял шапку над ухом. Кто-то из геологов пихнул его в спину, чтобы не мельтешил перед глазами, и он затих. А Мартынов, в пальто нараспашку, гвоздил застывшую тишину Красногорья словами:

— Я не буду говорить о значимости для этих краев нашего будущего комбината. Я хочу сказать вот что. — Он сдвинул галстук набок, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. — Трудно сейчас у нас. Ой как трудно. Наша стройка существует всего лишь год — нулевой цикл. И это самое тяжелое время. Многие не выдерживают его и из-за трудностей бегут. Много, конечно, и всякой шелухи, которая не делает погоды на строительстве, но случается, что уходят и хорошие ребята. «Обо мне ведь это...» — подумал Митрохин и оглянулся по сторонам. А Мартынов продолжал:

— И это очень горько, товарищи. Горько за то, что эти парни не до конца поверили в строительство, поддались первым же трудностям. — Он говорил что-то еще, но Колька уже не слышал, вышагивая по хлюпающему весеннему снегу. Было стыдно. Стыдно за себя.

После демонстрации Паша-комендант, которая из-за нехватки людей работала еще и продавщицей, открыла магазин и стала отпускать по бутылке водки на руки. Сунувшемуся было Стасику она показала огромную заскорузлую фигу, и он шел злой как собака.

Вертолет должен был скоро прилететь, и Николай, жалкий и потерянный, сидел в общежитии и перелистывал старый номер «Крокодила». Лободов залил теплой водой круг сухой картошки и теперь вскрывал консервные банки — к ним должны были прийти в гости девчата-штукатуры, и Гена хозяйничал за кухарку, отправив всю бригаду в магазин за водкой. Митрохин несколько раз шмыгнул носом, но бывший бригадир даже не повернулся на звук. Он вообще делал вид, будто в комнате нет никакого Митрохина, бывшего его плотника его комсомольско-молодежной бригады. Неожиданно дверь распахнулась настежь, в комнату заскочил Стасик. Он махнул Кольке, вытер пот со лба.

— Ну, ты чего расселся?! Вертушка уже над сопками гудит.

Лободов, старательно нарезавший хлеб тонкими ломтиками, замер с буханкой в руках, через плечо посмотрел на Николая. Митрохин нерешительно встал, как двухпудовую гирю, оторвал от пола почти что пустой чемодан, сказал:

— Ты прости меня, Гена. — Он опустил голову. — Ты не думай плохо, но я не потому уезжаю, что трудно тут, просто мне надо матери и сестренке денег в деревню выслать. — Он постоял в нерешительности, шагнул к ухмыляющемуся Стасику. — Пойдем...

Молчавший до этого Лободов оттолкнул Митрохина, загордил собой дверь. Сказал:

— Давай раздвайся обратно. А ты, — Колька увидел, как бригадир одной рукой подтащил Стасика к себе, и его синие, глубоко запавшие глаза вдруг стали совсем белыми, — ходи отсюда, пока вертолеты летают...

И от этих воспоминаний стало стыдно за ту слабость, которая едва не увела его со стройки. Митрохин глубоко вздохнул и, зачерпнув горсть сухого, колючего снега, провел им по лицу, словно сбрасывая неприятное для него воспоминание.

Когда возле машины ярко запылал костер, на душе по-светлело. Правда, тепло чувствовалось только вблизи, но от одного вида огня было легче. Стараясь не думать о застывшей пояснице и немеющих пальцах, Жарков терпеливо откручивал болты поддона. Руки сводило от холода, и гаечный ключ часто срывался. Иной раз Сергею хотелось вылезти из-под рамы, плюнуть на все и, закутав физиономию портянками, идти в поселок или на базу. Вдвоем они дошли бы, несомненно, дошли. Но он отогнал от себя эти мысли, продолжая крутить и крутить неподатливые на морозе болты. «Главное — дотянуть до рассвета. Дотянуть до рассвета», — твердил он себе. Хотя и не знал, чем может помочь рассвет.

От постоянной работы на весу онемелые пальцы вконец потеряли чувствительность, гаечный ключ вырвался и упал на гайки, разложенные на куске брезента. Тогда Сергей перевернулся на бок и медленно полез из-под машины.

С подветренной стороны, у костра, было непривычно тепло и уютно. Мирно, как, бывало, в детстве, трещали сосновые ветки, сучковатый северный стланник. Хотелось лечь возле огня, не отрываясь смотреть на пляшущие языки пламени и вспоминать детский дом, толстую и необыкновенно добрую воспитательницу тетю Паню, вспоминать жену Наташу и маленького Борьку.

Жарков вздохнул, повернулся к огню спиной, чтобы отогреть поясницу, и, не снимая рукавиц, начал яростно колотить бесчувственными руками по бедрам.

Волоча здоровенный сундук, подошел Митрохин. Бросив толстый ствол в общую кучу, выдал с хрипом:

— Тяжелая, зараза!

Он снял рукавицы и, присев на корточки, протянул руки к огню.

Помолчали.

Понемногу оттаивая, Сергей чувствовал, как необоримая слабость разливается по телу, потянуло в сон. Чтобы не расслабиться, он скинул рукавицы и, зачерпнув пригоршню сухого, колючего снега, начал яростно растирать лицо. И словно тысячи раскаленных иголок вонзились в кожу, нестерпимым огнем запылали руки. Сразу захотелось спать, и только поясница все так же тягуче ныла. «Не хватало еще, чтобы приступ свалил», — со страхом подумал Сергей, вспомнив, как два года назад его ЗИЛ застрял на небольшой речушке, по которой уже вовсю шла пуга, и ему пришлось переходить вброд напшигованный ледяным крошевом поток. Тогда-то и свалил его впервые радикулит.

Захотелось есть. Жарков искоса посмотрел на Митрохина, спросил безо всякой надежды:

— У тебя, случаем, сухарь не завалился?

— Откуда? — Колька виновато пожал плечами, попытался

улыбнуться. — Может, кипяточку согреть? Говорят, здорово помогает.

— Давай. У меня полпачки грузинского осталось, так что живем. Доставай котелок.

Круто заваренный чай горячей волной прошел по груди. Жарков и Митрохин молчали, жадными глотками пили отдающую дымом и еще какими-то запахами жидкость, и от этого становилось легче на душе. Когда в опорожненном котелке оставалась только разбухшая горькая кашка, Колька бережно отнес все это добро обратно в кабину, сказал, потягиваясь:

— Поспать бы еще чуток.

— Под машиной, — в тон ему ответил Жарков и, размахнувшись топором, начал хрястко рубить звенящее на морозе дерево.

После чая совсем не хотелось лезть под машину. Но лезть надо было, и Сергей, чтобы не думать об этом, снова стал вспоминать детдом.

— Знаешь, Никола, — сказал он Митрохину. — А мы в детдоме часто мечтали попасть в какой-нибудь такой переплет, чтобы потом на весь мир по телевизору показывали.

— Уж лучше не попадать, — ответил Колька рассудительно и добавил: — Может, я болты покручу?

— Успеешь. Твоя забота сейчас — дрова готовить.

Прошел еще час этой бесконечно длинной ночи. Сергей уже не мог более десяти минут вылежать на снегу и каждый раз все дольше и дольше отогревался у костра, чтобы войти в норму. Да и за эти десять минут он мало чего успевал сделать. В какой-то момент Сергей позабыл растереть щеки и подбородок, и теперь они нестерпимо болели. Но особенно донимали руки. Сначала немели кончики пальцев, затем бесчувственными становились кисти, приходилось двумя руками держать гаечный ключ.

Наконец Жарков открутил последний болт и начал снимать поддон. Заляпанный смерзшимся маслом и какой-то грязью, смешанной с бензином, оголился картер. Сергей аккуратно положил поддон на снег, подсветил переносной лампой, выискивая поломку. Из нижней шейки шатуна выглядывал рваный кусок вкладыша.

Сергей машинально сбросил правую рукавицу, взялся голый рукой за влажную от бензина и масла шейку...

Острая боль пронзила пальцы, жаркой волной ударила в голову. Сергей вскрикнул, рванул словно приваренную к металлу руку, увидел на шатуне рваные лохмотья кожи. Не успев еще сообразить, что произошло, с ужасом посмотрел на кровоточащие пальцы.

— Чего это ты? — с тревогой спросил Колька, нырнув к нему под машину.

Стиснув зубы, Сергей натянул рукавицу, выбрался к костру, сказал глухо:

— Все! Отыгрался дед на скрипке.

Распухшие пальцы начали покрываться кроваво-грязными волдырями. Выть хотелось и от боли, и от оплошности, кото-

рая теперь может неизвестно чем кончиться. И как это он, битый-перебитый шофер-грассовик, мог допустить такую глупость?! Устал, наверное. Потерял чувство реальности. Сергей скрежетал зубами, почти со злостью посмотрел наковырявшегося под ЗИЛом Митрохина. Был бы напарник понадежнее, а этот...

— Николай, — позвал он. — Давай вылазь, разговор есть.

Старые, надежно подшитые валенки Митрохина зашевелились, в полосе света появилось его лицо.

— Ну?

— Гну! — сорвался Сергей. — Кончай эту свистопляску, на базу пойдем.

— А как же?.. — Митрохин недоуменно посмотрел на Жаркова. — Сам же говорил, что вкладыши есть — менять надо.

— Менять... — криво усмехнулся Сергей. — Кто менять-то будет?

— Я.

— Я-а... — Насквозь промерзшие губы Жаркова дрогнули. — Да знаешь ли ты, парень, что человек просто не в состоянии пролежать при таком морозе десять часов на снегу?

— А мы, туляки, живучие, — поворачиваясь спиной к ветру, сказал Колька.

— Вон как?.. — Жарков, на какое-то время забыв о боли, перестал нянчить руку, с удивлением посмотрел на Митрохина. — Тогда прости, Никола.

— За что?

— Да-а, это я так. — Жарков присел на сваленное у костра дерево, кивнул Митрохину. — Садись. Давай вместе подумаем. — Помолчав немного, добавил: — Хоть ты и туляк, да мало я верю в то, что ты сможешь этот ремонт вытащить, а от меня толку... сам видишь. — Он скрежетнул зубами. — Так что вдвоем нам здесь отсвечивать нечего. Я на базу пойду — чем черт не шутит, вдруг там какая машина есть, а ты тогда тут возись. Починишь — догоняй. Но об одном прошу тебя, парень, как бы плохо ни было — от этого костра ни шагу.

— А как же ты?

— Как?.. Я, Колька, детдомовский, да и не впервой мне до базы пешком ходить. И еще вот что: снимай-ка свой тулуп на рыбьем меху. — Сергей кивнул на поношенный солдатский бушлат. — Возьми мой полушубок, все теплее на снегу будет,

VII

Серая полоса утренней зари медленно расплзалась над заросшими вековой тайгой сопками, обнажала заснеженные перепады. Мглистое утро едва-едва переходило в день, когда Жарков вышел наконец к ручью Первопроходцев. Отсюда зимник сворачивал резко влево и, петляя меж отрогов, бежал дальше. Пожалуй, еще год, и эта дорога уйдет в историю стройки, а пока не отсыпана новая, шоферам приходится делать немалый крюк, пробиваясь за материалами на базу.

Сергей остановился у поворота, отдышался. Как он ни старался обходить заструги и запесенные снежным бураном места, все равно случалось часто проваливаться в снег и делать не более двух километров в час. Хорошо еще, что ветер подталкивал в спину. От постоянного напряжения и нечеловеческой усталости Жарков перестал обращать внимание на поющие пальцы, и они от этого вроде бы перестали болеть. Только изредка, почти автоматически, он шевелил ими, не снимая рукавиц, и, ощущая подвижную гибкость, радовался — живы пальцы, не морозятся.

Постояв минуту, Сергей на всякий случай растер лицо, подбородок и, увязая в снегу, начал подниматься проложенной бульдозеристами просекой на левый берег. Подъем был не очень крутой, но бесконечно длинный, и поэтому, взобравшись на вершину пологой сопки, он остановился опять, чтобы перевести дух. Отсюда зимник серпантинной лентой бежал вниз и где-то далеко-далеко выпрыгивал на новый пологий склон. «Лыжи бы сюда!» — с завистью подумал Сергей.

— А вертолета не хочешь? — сказал вслух Сергей и с опаской посмотрел на высокое, сизым мглистым куполом уходящее в космический холод небо. За два года работы на Севере Жарков насмотрелся на такие дни, когда при ясном безоблачном небе не проглядывал ни один луч солнца и только кристаллическая мгла висела над землей. Но все это было там, на людях, когда можно было укрыться в теплом общежитии или в кабине машины, а здесь... Сергей сглотнул подступивший к горлу комок, впервые за все это время обернулся назад.

Далеко внизу лежала скованная морозом река, на белоснежном покрывале которой неровной цепочкой тянулись его следы. Далекий и оттого казавшийся серым правый берег переходил в нехоженые отроги хребта, заснеженные вершины которого сливались с падающим на них небом. И такая безысходность была во всем этом, что захотелось бегом броситься вниз и бежать туда, к людям, на базу, где можно отогреться в тепле, съесть большую тарелку жирного борща, выпить кружку вяжущего своей горечью чая.

Жарков почувствовал, как во рту начинает собираться слюна, почти наяву увидел исходящую паром миску борща.

— Однако пора и завтракать, — вслух сказал он и начал спускаться по серпентине вниз. Защищенный деревьями зимник был не так сильно переметен снегом, как открытая всем ветрам река. Когда дорога обогнула сопку с подветренной стороны, Сергей вошел в подлесок, огляделся, выискивая сушняк...

Веселые язычки пламени робко лизнули прокопченное доннышко эмалированной кружки, которую Жарков прихватил с собой, медленно поползли вверх, обхватывая ее со всех сторон. Костер разгорался все ярче, и теперь уже можно было снять рукавицы, свободно вдохнуть теплого, отдающего смоляной хвоей воздуха, не рискуя застудить легкие. Сергей примостился на поваленное дерево, вытянул ноги к костру. От усталости начало покалывать в коленках и пояснице,

неудержимо захотелось спать. Сами по себе начали слипаться глаза.

— Ишь барин какой! — вслух сказал Сергей и удивился звуку собственного голоса: словно кто-то посторонний произнес эти слова. — Ишь ты! — повторил он. — Этак можно и в психушку попасть.

Забулькала вода. Стараясь не пролить ни капли, Жарков снял кружку с костра, сдул налетевший в воду пепел, от хлебнул.

Отдающий костром кипятком показался необыкновенно вкусным. Сергей допил остатки, с сожалением посмотрел на жаркий костер — надо было идти дальше. Он тяжело вздохнул, натянул теплые рукавицы на руки и, не оборачиваясь на огонь, размеренно зашагал к петляющему зимнику: надо было идти споро, но и не очень быстро, иначе тридцать километров, которые остались до базы, не одолеть. Можно было «сломаться» от усталости и мороза буквально на последних метрах — это Сергей знал хорошо.

Полузасыпанная колея сползла с пологого склона утыканной одинокими деревцами сопки, вильнув в сторону, обогнула гонец и скатилась в промерзшее русло ручья Первопроходцев. Ветра здесь почти не было, и только поскрипывающие где-то высоко над головами сосенки напоминали о нем. Зато снег сугробами лежал на обдуваемых ветром склонах, и Сергей вскоре запыхался, при каждом шаге проваливаясь по колено. Где-то в этих местах били подземные ключи. В пургу ключевая вода скапливалась под снежной шубой, подолгу не промерзая до конца, образуя своеобразные ловушки.

Не имея ни малейшего желания провалиться в такую ловушку, Жарков полез на склон сопки и, спотыкаясь о поваленные деревья, начал обходить опасный участок. Затем снова спустился к зимнику. Здесь снега было не так уж много, и он, наверстывая упущенное, быстро зашагал по руслу ручья. И сами собой потекли мысли о доме, Наталье, маленьком Борьке. Вспомнилось, как он бежал по этим сопкам год тому назад, когда узнал о рождении сына. Хоть и стоял тогда морозный ноябрь, но по зимнику машины еще не ходили, а из-за пуржистой погоды не летали и вертолеты. Завгар, который вместе с парнями пришел к Жаркову с поздравлениями, пытался уговорить его обождать денька два-три, но Сергей упрямо стоял на своем:

— Не, Владимир Алексеевич, представьте — ко всем бабам приходят мужья в больницу, а к Наташке нет. Обидно же ей все-таки. А пурга, кто ее знает, когда она кончится. Может и неделю мест.

Завгар смотрел в окно, за которым из-за низко нависших туч не было видно даже лесистых вершин сопки, говорил:

— Может, переночуешь хоть? Куда в темень-то? Все-таки всемьдесят километров до базы.

— А на кой она мне, эта база? — Сергей натянул торбаса, завязал сыромятные ремешки под коленками, чтобы снегу не насыпалось, притопнул ногой. — Я сейчас на лыжах прямиком через Глухариную сопку на трассу выскочу, а там

любая машина моя. Вот завтра к ночи в райцентре и буду. Ясно, как будто он был рядом, Сергей вспомнил Сеньку Ежикова, ввалившегося в комнату. Сенька бросил на стол теплого еще зайца и пару белоснежных куропаток.

— Держи, папаша. Из силков только что вытащили. Гостинца принесешь своему семейству.

Завгар согласно закивал.

— Ты бы ей там как-нибудь бульончика сваргань, баба моя советовала. Да скажи Наталье, чтобы сладкого чая побольше пила, от этого молоко прибывает.

В тот раз Сергей вышел на трассу около Васютина ключа. До райцентра оставалось рукой подать — километров двести. Сергей снял подбитые камусом широкие охотничьи лыжи, закопал их под приметным раскидистым деревом. Ноги, освободившиеся от лишнего груза, стали необыкновенно легкими, и почему-то захотелось бежать, и он бежал по дороге, пока его не догнала машина.

В кабине лесовоза было тепло, уютно, и от этого хотелось спать. Мешал шофер, чумазый мужик лет сорока, назвавшийся Михаилом Лобановым.

— Как чадо свое назовешь? — спросил он.

— Вообще-то Борькой. Борисом Сергеевичем! А? Как думаешь, звучит?

— Тебя в поселке-то куда отвезти? В гостиницу?

— Не. Давай где детей рожают. — Сергей улыбнулся, представляя, как бросится ему на шею Наташка, как заплачет. Она всегда плачет от счастья. Чудная небось без живота-то. И Борька, наверное, чудной — маленький...

К ночи показались расплывчатые в пурге огни поселка. Когда машина остановилась около решетчатых ворот больницы, шофер вытащил из-под сиденья алюминиевую флягу и железную кружку.

— Хлебнем на радостях?

— А она не учует? — спросил Сергей.

— Кто?

— Ну жена, Наташка.

Шофер покрутил пальцем у виска.

— Рехнулся, что ли? Тебя же к ней не пустят.

— Как это не пустят? К собственной жене не пустят?

— Смотри сюда. Во-о-она четыре окна светятся на втором этаже. Это ихняя палата. Рожениц. У меня там в прошлом году лежала. Ну давай пей.

— Не буду. Она у меня знает какая? Как рентген. Сразу заметит, расстраиваться будет.

Шофер оказался прав. Толстая сторожиха в больничной проходной не хотела пускать даже на территорию больницы.

— Ишь чего надумал! — косила она глазом на потертый рюкзак. — Время десять часов, а он... в больницу. Ишь ты!..

— Мать, пусти! — молил Сергей. — Мне жена сына родила. Понимаешь? Борьку!

— Иди, иди отсель! — не поддавалась на уговоры сторожиха. — Ишь ты! Жене ему повидать... Знаем мы таких. На-

медни бутылъ спирту украли из кладовой, а Иван Герасимович теперь отвечай.

— Ну, старая! — разозлился Сергей. — Будешь ты рожать, а к тебе твоего деда не пустят, помянешь тогда меня.

— Это я-то? — Сторожиха всплеснула своими толстыми руками. — А ну, пошел отсюда!

Забор был не очень высокий. Сергей нашел место поудобнее и легко перелез во двор. Окна, на которые указал шофер, еще светились. Сергей подошел ближе, задрал голову.

— Наташка-а...

К окну никто не подходил. Сергей подождал немного, крикнул для верности еще раз и пошел искать, что бы такое подставить. Он обошел корпус, увидел возле кочегарки припорошенную снегом лестницу.

Лестница попалась хорошая, как раз упиралась под окошко. Женщины в палате, по-видимому, как раз укладывались спать. Отвернувшись, Сергей постучал по стеклу. Свет сразу погас. Затем загорелись лампочки на тумбочках, и к окну подошла высокая тетка, закутанная в байковое одеяло. Она что-то спросила, но сквозь тройные рамы ничего не было слышно. Сергей снял рукавицы, сложил ладони рупором, закричал:

— Наталью позови! Наталью! Жену мою. — Для ясности он постучал себя в грудь. — Жену! Она мне сына родила. Борпса!

Высокая женщина за стеклом засмеялась и понятиливо закивала головой. И вдруг совсем неожиданно в дверном проеме появилась Наташка. Она растеряннo прошла мимо коек и бегом бросилась к окну. Он увидел, как из ее глаз брызнули слезы, она быстро-быстро заговорила что-то непонятное, потом немного успокоилась и стала гладить стекло напротив его лица. Сергей проглотил что-то горькое и соленое, закричал в стекло. Громко закричал. Так, чтобы могла слышать Наташка.

— Борька где? Борьку покажи!

Наташка что-то говорила за стеклом и показывала рукой за стенку.

— А-а, понимаю, — закивал головой Сергей. — Спит. А я ему вайчика принес и куропаток...

Он поудобнее переступил на шаткой перекладине и тут услышал хруст шагов. Обернулся, увидел милиционера и сторожиху.

— Вот он, харя бапдитская! — закричала снизу сторожиха. — А у нас намедни бутылъ спирту пропала.

Сергей улынулся Наташке и одобряюще кивнул.

— Крепись, Наташка! — Он лягнул ухватившего его за ногу милиционера, опять сложил ладони рупором. — Ну, я пошел. А то меня здесь ребята ждут.

Сергей обернулся к милиционеру, сказал улыбаясь:

— Куда спешишь, начальник? Или у тебя жена никогда не рожала?

— Харя бессовестная! — кричала сторожиха. — Надо порядки соблюдать.

Он хотел улыбнуться и ей, но вдруг вместе с молоденьким сержантом полетел впиз, в снег...

Сергей шел и улыбался, понимая, что вот опять Наташка помогает ему, вспоминаясь такой хорошей. И он нарочно все рисовал себе ее похудевшей, похорошевшей после родов, забывая, что надо, все время надо внимательно смотреть под ноги. Опомнился, когда увидел, как из-под ног начинает уходить толстый слой снега. Он отшатнулся назад, но было уже поздно — белоснежный покров осел, покрылся темными разводами. Сергей почувствовал, как вода заливает валенки. Стало жутко. Он рванулся из этой ловушки, упал, быстро вскочил и, утопая в набухшем снеге, хлюпая водой, которая успела набраться в валенки, выкарабкался на твердый наст. Промокшие валенки сразу затянулись ледяной коркой. Сергей с ужасом почувствовал, как стынут пальцы рук: намокшие рукавицы тоже сковались ледяным панцирем.

VIII

Провонявшая горьким запахом перегоревшей соляры и едким дымом костров, на Красногорье опустилась еще одна ночь испытаний. Сгустившаяся темнота медленно наползала на поселок, на прибрежные гольцы, посеревшую ленту реки. Сквозь непроглядную дымку тускло высвечивались редкие огоньки общежитий. И если бы не сполохи электросварки и прибываемые к земле разлапистые языки костров, то можно было бы подумать, что люди сдались.

Оставшийся за Мартынова начальник комсомольского штаба стройки Антон Старостин, осунувшийся и почерневший, не обращая внимания на давно уже обмороженное лицо, носился от насосной к котельной и делал все возможное, чтобы вытащить поселок из навалившейся на него беды. Все больше и больше было обмороженных, редели костры на линии трубопровода. Некоторые, не выдержав непосильной нагрузки и страшного мороза, бросали работу и, едва волоча ноги, уходили в темноту, к общежитиям, где можно было снять задубевшую робу, сорвать с лица шерстяную маску и поспать у самодельного «козла». И если еще днем, завидев Антона, рабочие, в большинстве такие же, как и он комсомольцы, улыбались ему, говорили что-то ободряющее, то теперь его встречали и провожали угрюмые взгляды, и ему казалось, что каждый хотел спросить: «Как могли вы допустить такое? Колыма — не Крым, все надо было предусмотреть».

Старостин один из первых пришел сюда, в эту глухую тайгу, зажатую сопками; четыре года назад его, практиканта-гидрогеолога, включили в состав комплексной экспедиции, которая должна была найти наиболее приемлемую площадку для строительства обогатительного комбината. Было предложено три варианта, но решили остановиться здесь, в Красногорье. Правда, тогда еще не было этого названия, да и пришло оно случайно: в летние закатные вечера, когда особенно хорошо смотрятся врезающиеся в поднебесье островерхие заснеженные сопки, подернутые красноватой дымкой, кто-то из геологов сказал: «Ребята, а горы-то красные!» Так и пошло — Красногорье. А затем была дипломная работа, после защиты которой Антону предложили завидное место в одном из научно-

исследовательских институтов, но он отказался, напросившись сюда, на Колыму. Видно, прикипел сердцем к этой тайге, диким отрогам хребта, к этим лиственницам и карликовым березкам.

От реки, разрывая фарами темноту, пронеслась водовозка Сеньки Ежикова, пока что единственная надежда поселка. У костра, вокруг которого нахохлившейся кучкой грелись парни из бригады Лободова, Антон остановился, встал с подветренной стороны, вытянув руки к огню.

— Как дела, ребята?

Кто-то сказал глухо:

— Дела... как сажа бела. В одном месте греем — в другом схватывает.

— Во-во! А попробовали резать трубу и выбрасывать насквозь замороженное, так мастер нам такой хай устроил, что и вспомнить страшно: труб, мол, не хватит. Ты бы поговорил с ним, Антон. А то ведь мартышкин труд получается.

Старостин молча слушал монтажников, а думал о своем. Не давал покоя пропавший Жарков, на которого были все надежды. Если в ближайшие час-два не вернется, то придется отправлять бульдозер, хотя и неизвестно, сколько от протачит-ся по снежному целику. Но иного не оставалось...

— ...я и спрашиваю, быть-то теперь как? — донесся до Старостина чей-то голос.

— Продолжайте резать трубу и стыковать новый водовод кусками, — сказал Антон. — Замороженное — выбрасывать!

— А если не хватит?

— Хватит. Жарков должен подвезти.

— Во! Совсем другой коленкор, — заулыбались монтажники. — А то морозь тут сопли понапрасну.

— А где бригадир? — спросил Антон.

— Отдохнуть мы его послали. Он ведь с первого часа на трубопроводе. Пусть поспит малость.

От монтажников Старостин медленно побрел к горловине реки. Там было самое страшное место: зажатая высокими сопками река превращалась в добротню сработанную аэродинамическую трубу, которая разгоняла поток холодного воздуха до 18—20 метров в секунду. И если на берегу было —60°, то там...

По всему трубопроводу яростно шипели сварочные аппараты. Развороченным, беспокойным муравейником копошились над перемерзшей магистралью люди. В шерстяных масках, натянутых на самые глаза, а то и просто замотанные полотенцами, чтобы не обмораживались лица, они были похожи на фантастических роботов. Наскоро резали трубы, стыковали новый водовод, мотали утеплитель, рубили новый короб. А мороз все давил и давил, словно поклялся во что бы то ни стало сломить этих «нахалов» с комсомольскими билетами, которые пришли сюда, чтобы отогреть вечную мерзлоту. Не выдерживал металл, хрупкими, словно стекло, становились железные детали машин, вставала техника. От страшного холода едва тянули сварочные аппараты. Но люди продолжали работать. Экстренное совещание комсомольского штаба стройки

постановило: с линии трубопровода уходят только обмороженные, а также отработавшие без подмены двенадцать часов. Всех сбежавших объявлять дезертирами.

Антон постоял немного, потом направился к «пушке», около которой возился кто-то замотанный по самые глаза полотенцем. И, только подойдя вплотную, он узнал Петьку Романенко, совсем еще молоденького парнишку, который сразу же после десятилетки по собственной инициативе приехал на стройку и теперь ходил в учениках у монтажников.

Увидев Старостина, Петька виновато развел руками и приглушенно сказал из-под полотенца:

— Вот, никак, Антон. Не тянет, зараза, и все тут. А ребята никто не умеют.

— Звонарев где? — спросил Старостин, предчувствуя недоброе.

— Да, он, сволочь, еще засветло работу бросил, а вместе с собой и всю свою гвардию увел, — сказал кто-то за спиной.

Антон обернулся, узнал деда Афоню, пожилого уже плотника, который двадцать лет колесил вместе с Мартыновым со стройки на стройку.

— Оно бы бес с ним, — продолжал дед Афоня, — если бы это плотник был, а то ведь сварщик. А Петька что... — кивнул он на Романенко. — Изо всех сил старается пацан, да уменья-то еще маловато. Поначалу кое-как варил трубы, а теперь вообще вся эта хреновина заглохла. Морозина-то вон какой, вот она и не тянет.

— Ясно. — Антон вдруг почувствовал, как тяжелой яростью начинает наливаться сознание, и, чтобы сдержаться, всей грудью вдохнул обжигающий воздух. От этого холодного «душа» вроде бы полегчало, Антон повернулся к виновато стоявшему Петьке, сказал:

— Ну-ка, показывай, чего у тебя тут не ладится.

— Да вот, понимаешь, Антон... — Петька стащил с лица полотенце, присел на корточки перед сварочным аппаратом.

Вспарывая слепящими фарами темноту, к трубопроводу подлетел «газик» главного инженера. На ходу прыгнув с подножки, Яшунин подбежал к Старостину и, хватая ртом обжигающий воздух, крикнул:

— Беда, Антон! Подстанция может накрыться. Огромный расход электроэнергии. Дизеля еле тянут.

Причина была ясна без объяснений: в общежитиях и семейных домиках включали «козлы» — самодельные электропечки, сделанные из асбестовых труб и толстых вольфрамовых спиралей. Эти «козлы» остались еще от прошлых времен и хранились на всякий пожарный случай в каждой семье, в каждой комнате общежития. Надо было идти по домам, разъяснять. И это мог и должен был сделать только он, комсомольский вожак, оставшийся за начальника стройки.

Едва разжимая бесчувственные, перемерзшие губы, Антон сказал:

— Я поехал по общежитиям, а вы соберите членов парткома и пускай идут по семейным домикам, уговаривают людей отключать буквально все «козлы», плитки и прочее. Все!

— Но ведь...

— Все, кто не обморожен, должны быть на магистрали. Это приказ... И... и просьба. Отдыхающих поместить в баню, там печка есть.

Пятое общежитие бузило. Парни, поселившиеся в нем, на стройке были новые, съехали кто откуда. Жили там и случайные люди, мотавшиеся со стройки на стройку в поисках длинного рубля. Комсомольский штаб поднимал вопрос о расселении их по другим общежитиям, где были надежные коллективы, но до осуществления этого в суматохе повседневных дел так и не дошли руки. Одна только бригада-старожил Геннадия Лободова, проживавшая в этом общежитии, своей спаянностью и рабочей хваткой резко отличалась от всего этого конгломерата возрастов и профессий.

Хлопали и настезь распахивались двери в натопленных «козлами» комнатах. Бригада плотников, неизвестно откуда раздобывшая водку и портвейн, всю гуляла в большой комнате, приспособленной под красный уголок. По коридору в поисках приключений ходил какой-то парень. Он сунулся было в комнату Лободова, но, увидев приподнявшуюся с подушки всклокоченную бороду рослого бригадира монтажников, повернул обратно.

Через тонкую стенку явственно доносились подвыпившие голоса, кто-то играл на гитаре. От всего этого, несмотря на то, что страшно хотелось спать и сами собой опускались веки, Лободов заснуть не мог и злился, все более и более распаляя себя.

Кто-то завыл, стараясь перекричать аккомпанемент гитары:

А мы едем, а мы едем за деньгами,
За туманом пущай едут дураки!

Лободов натянул на голову одеяло, закрыл глаза и, пытаясь успокоиться, начал считать до ста. Где-то на седьмом десятке он почувствовал, что начинает засыпать, и уже сквозь сон услышал, как на улице остановилась машина, хлопнула входная дверь...

Старостин, поначалу опешивший от духоты и спертости, накалившегося воздуха общежития, остановился в нерешительности, удивленно покрутил головой, расстегивая пуговицы полубубка. От резкой перемены температуры он вдруг почувствовал, как жарким огнем начинает гореть обмороженное лицо, от тепла заныло, расслабляясь, все тело.

— Вот сволочи! — не смог сдержаться Антон и быстро пошел на звук гитары.

Плотники гуляли всюду. Под столом валялись пустые бутылки, поблескивало неровным светом битое стекло. Залитая портвейном клеенка была заставлена гранеными стаканами, вперемешку с нарезанной колбасой валялись ломаные куски хлеба, стояли рыбные консервы.

Под окном на четырех кирпичах вопреки всем правилам техники безопасности лежала здоровенная труба, обмотанная толстой, жарко пылающей спиралью, а около нее, полураз-

детый, в трусах, сидел Звонарев — русоволосый курчавый парень — и ожесточенно бил по струнам. Напротив него, на скомканной постели, сидел худой, будто высохший мужичонка лет сорока и гнусаво тянул:

Я знаю, меня ты не ждешь
и писем моих не читаешь,
встреча-а-ать ты меня не приде-е-ешь,
об ентон, роддная, я знаю-ю-ю.

По заросшим щекам «певца» обильно текли слезы, и он, видно, наслаждался своей ролью. Пригорюнившиеся плотники молча слушали Кузькина — Антон сразу же вспомнил его фамилию, — и только изредка, не выдержав душевного накала, кто-нибудь из них подхватывал:

...об этом родная, я знаю-ю-ю.

Остановившийся в дверном проеме Антон молча смотрел на певцов, и в груди давящей волной нарастала злоба. Сейчас, когда буквально каждый человек был на счету, эти здоровенные лбы позволяли себе такое. «А Кузькин-то, — расплялся Антон. — Под заключенного работает. Ах, тунеядец несчастный!» Два месяца назад Кузькин пришел в отдел кадров, чуть не плача попросился на плотницкую работу. Особой нужды в плотниках тогда не было, но они пожалели этого художочного мужичка, высланного за тунеядство из Москвы, и направили его в плотницкую бригаду. И вот на тебе...

— Кузькин, завтра придете за расчетом в отдел кадров.

Певец вскинул голову, и вдруг выражение его лица начало медленно меняться, приобретая плаксивый, жалостливый оттенок.

— За что?

— За пьянство!

— Но ведь не возбраняется...

— За пьянство в то время, когда все работают, когда жизнь людей под угрозой. — И вдруг, не сдержавшись, выплескивая из себя все, что накопилось за эти такие длинные сутки, закричал: — За то, что дети замерзают...

— А ты, Антоша, не кричи на нас, — неожиданно вступил за Кузькина Звонарев. — Тут тебе комсомольцев нету. А мы сами с усами. Законы знаем. И вкалывать по двенадцать часов в сутки никто не заставит. Права такого нет. Понял? — Он вдруг скособочился и, сбросив на лоб челку, звонко ударил по струнам, заплясал, задергался перед Старостиним:

А ты, начальник, без ручки чайничек,
а ты, начальник, ходи домой...

Антон выхватил у него гитару, с размаху ударил о стол и с обломанным грифом в руке, ничего не соображая, пошел на опешивших, замолкших плотников. И тут кто-то крепко обхватил его сзади. Он обернулся, увидел Лободова, бросил гриф, сказал как можно спокойнее, сдерживая себя:

— Всем, кто сегодня пил, завтра в девять утра быть в управлении. А сейчас немедленно отключить все нагревательные приборы и на эту ночь перейти в баню. Подстанция такой нагрузки тащить не может, все электричество пойдет на котельную, детсад, больницу, мастерские...

IX

Растерявшись в первую минуту, Жарков с ужасом смотрел, как затягивается ледяной коркой озерцо, из которого он только что выбрался. Сразу почувствовал холод в валенках. Стали бесчувственными пальцы рук.

Сергей сбросил рукавицы на снег, с трудом расстегнул пуговицы воротника. Под мышками было тепло, и он сунул немеющие руки туда.

«Главное — руки! Руки!» — твердил он, понимая, что спасти себя сможет только огнем, а для этого нужны подвижные пальцы, которые смогли бы сложить костер, зажечь спички. Не вынимая рук из-под мышек, Сергей побежал по пологому склону берега, стараясь разогреться.

Тяжело дыша, он остановился около двух поваленных ветром и каменной осыпью елочек и начал вытаптывать площадку для костра. «Идиот! — ругал он себя. — Мало того, что в воду попал, так умудрился еще и рукавицы намочить».

Сергей с надеждой пошевелил пальцами и с радостью почувствовал, что они понемногу отходят. Боясь ошибиться и раньше времени вытащить руки из-под мышек, он продолжал ожесточенно топтать снег.

Когда пальцы отошли окончательно, Сергей начал быстро обламывать сухие веточки, выкладывая из них маленький шалашик костра. На это ушло не больше трех минут, но пальцы снова успели онеметь, и он с ужасом подумал, что он не сможет развести огонь.

— Стой, Серега, не суетись, — сказал он себе и опять засунул руки за пазуху.

О коченеющих ногах он уже старался не вспоминать.

На этот раз руки опять отошли. Он торопливо, боясь потерять хоть секунду, начал обламывать сучья потолка.

Теперь он уже совсем не чувствовал ног, омертвели щеки и подбородок. Но это была ничего не значащая мелочь по сравнению с руками.

Наконец Сергей достал коробок спичек и, присев у шалашика, чиркнул спичкой. Догорев до основания, так, что огонек лизнул пальцы, спичка погасла, не сумев зажечь перемороженные ветки.

— Спокойно, Серега, спокойно, — уговаривал он себя, шаря по карманам в надежде отыскать какую-нибудь завалявшуюся бумажонку.

Бумаги не было, зато в нагрудном кармане нашлись два потрепанных рубля и две трешки. Не раздумывая, Сергей сунул их под сложенный из веток шалашик, чиркнул спичкой.

Деньги занялись ровным, почти бесцветным пламенем, едва

видимый огонек перекинулся на тонкие веточки, потрескивая, пополз вверх.

Боясь пошевелиться, чтобы ненароком не загасить этот крохотный огонек жизни, Сергей затаив дыхание смотрел, как разгорается костер. Когда огонь залясал по всему шалашику, он начал подкладывать в него большие сучья. Закоченевшие пальцы уже почти не слушались, приходилось каждую ветку брать двумя руками.

От жаркого огня подтаял снег. Зачерпнув его в пригоршню, Сергей начал растирать онемевшие пальцы, лицо. Почувствовал, как отходят обмороженные щеки, словно иголками закололо руки. Теперь можно было приниматься и за ноги. Сергей сел на поваленную елку, вытянул к костру тяжелые, насквозь промерзшие и заледеневшие валенки. Попытался снять их и не смог: видно, прихватило изнутри. Тогда он сел на снег и, засунув ноги под ствол дерева, стал с остервенением сдирать валенки. Они не поддавались. Сергей вытащил перочинный нож, который постоянно брал с собой в рейс, и, кроша ледяную корку, располосовал голенища до самого низу. Рывком сорвал жесткие хрустящие портянки и, оставшись в шерстяных носках, принялся с ожесточением растирать бесчувственные ступни. Вскоре по ногам начала растекаться боль.

— Живы! Живы ноги! — закричал Сергей и еще сильнее заработал руками. Боль становилась невыносимой, и он сжимал зубы, стараясь не завывать.

Примерно через час боль отпустила, и Сергей, надев на носки исходящие паром распоротые валенки, спустился к тому месту, где он провалился в воду, и принес рукавицы. Надо было их подсушить, а заодно и портянки, носки, вымокшие до колен брюки. Надо было думать о дальнейшем. Мелькнула мысль: не подождать ли тут сутки-другие? Кружка есть, значит, прокормиться можно, а с голоду за два дня еще никто не помирал. Но ведь в поселке ждали трубы... Хорошо, если Митрохин сумеет поставить вкладыши. А если не сумеет, тогда вся надежда на него, Сергея Жаркова. Впрочем, и здесь особой уверенности не было: на базе могло не оказаться машин.

Сергей отогревался у костра и, слушая, как на вершинах сопок постанывают деревья, думал о себе. Где-то далеко-далеко были детство и юность, рано умершие родители. После десятилетки он не стал сдавать экзамены в институт — тянула к себе шоферская баранка. Затем армия, комсомольская путевка на эту стройку. Был ли он счастлив?.. Наверное, да. Но иногда, когда приходили письма от друзей, окончивших институты, в душу закрадывалось сомнение. А потом он встретил Наташку, и все сомнения исчезли.

От потрескивающих сучьев стало жарко ногам. Сергей посмотрел на часы и ужаснулся: стрелки показывали двадцать минут первого. Надо было торопиться.

Он снял с сучка задубевшие рукавицы, потрогал их изнутри, быстро надел горячие носки, заправил в них брюки. Подумав, обрезал наполовину валенки, сунул в развалившиеся чоботы ноги, стянул их разрезанным надвое поясным ремнем. Получилось вроде бы надежно.

«Ничего, — успокаивал он себя. — Главное — идти побыстрее, не застыть».

Поплотнее запахнув Колькин бушлат, Сергей поднялся и, боясь, что не сможет уйти от костра, не оглядываясь, быстро зашагал по склону сопки...

Первые семь километров Жарков почти пробежал. Иной раз казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Тогда он переходил на шаг и дышал в рукавицу, боясь застудить легкие.

Зимник петлял по руслу зажатого сопками ручья. Сергей радовался, что здесь не так много снега и не надо продираться по целине. Он уже не сомневался, что к семи вечера доберется до базы, а там... Десятки раз проезжал он этой дорогой и никогда не думал, что придется брать зимник пешком. В шестидесятиградусный мороз. В распоротых валенках.

Около Медвежьей сопки, где охотники три года назад подстрелили проснувшегося раньше времени шатуна, Сергей вдруг понял, что не сможет больше выдержать такого темпа. Пошел медленнее, но тут же мороз сковал пальцы ног. И откуда-то из груди пополз вдруг холодок страха. Сергей снова попробовал побежать и не смог: ноги были как ватные, безвольно провалились в снег, начало покалывать в коленках. Сергей старался припомнить, сколько километров от Медвежьей до базы. Кажется, около тридцати. Значит, еще пять часов хорошего хода. Пять часов, если не разжигать костра и делать по шесть километров в час.

Сжав зубы, он волочил ноги, ругая себя вслух:

— Идиот! Не надо было бежать. Главное — ритм. Ритм!

От звука собственного голоса страх пропал, и Жарков все шел и шел, заставляя себя торопиться.

Начинали сгущаться ранние декабрьские сумерки. Прислушиваясь к мертвеющим ногам, Сергей побежал опять: надо было расшевелить кровь, чтобы потом обогреть ноги у костра. Костер... Его видение все время стояло перед ним, и приходилось пересиливать себя, чтобы не останавливаться раньше времени. Надо было спешить, успеть пройти побольше до того, как ночная темнота полностью скроет дорогу.

Х

Лихо крутя баранку, бывший старшина второй статьи орденосного Тихоокеанского флота, а ныне шофер поселковой водовозки Семен Ежиков гнал машину по извилистой дороге вниз к реке, туда, где на самой середине русла была выбита прорубь.

В кабине было тепло, хотелось спать. Чтобы взбодрить себя, Семен во всю глотку распевал давно позабытые песни, вспоминал службу на флоте, детство. Ах, как мечтал он совершить что-нибудь героическое! Такое, чтобы про него написали в газетах и обязательно с портретом на первой странице. Но ничего героического в его жизни не происходило: после школы — курсы шоферов, три года службы на флоте, теперь — водовозка.

Непомерно длинный склон гольца кончился, машина, переваливаясь на рытвинах, медленно сползла на лед, подъехала к темнеющей на снегу палатке, возле которой ребята непрерывно прогревали паяльной лампой кожух ручной помпы.

Ежиков затормозил у проруби, выскочил из кабинки.

— Ну-ка дайте покачать бывшему матросу!

— Иди в палатку, чайку попей. Ключешь за баранкой-то, — сказали ему.

В небольшой палатке, растянутой рядом с прорубью, жарко пылала маленькая печка-«буржуйка», тоненько посвистывал закипающий чайник. Ежиков скинул бушлат, протянул к теплу покрасневшие руки.

— Лицо, лицо ототри, — гроыхнул басом сидевший возле печки взрывник Нефедыч. — Шпортишь красоту, девки любить не будут.

— Ты-то чего здесь? — спросил Сенька.

Нефедыч безнадежно махнул рукой, кивнул на ноги. Ежиков только сейчас обратил внимание, что взрывник сидит без валенок.

— Подморозился малость. Тут надо было новую прорубь долбить, ну я и начал. Поначалу даже не заметил, как пальцы прихватило, потом чувствую... что-то не то. Думал, пробегусь малость — они и отойдут, а они... вот заразы!

— Так поехали сейчас со мной. Прямо к докторше доставлю.

— Не, — отмахнулся Нефедыч. — Мне тут надо быть. Пареньки-то, можно сказать, сопливые, без меня не справятся. Да ты пей чай-то, пей.

— Ага, спасибо. — Ежиков ухватил ручку насквозь прокопченного чайника, тоненькой струйкой, так чтобы «купеческая» пенка была, наполнил эмалированную кружку. Захрумкав сахаром, отхлебнул глоток, обжигаясь.

— Слушай, Еж, потрави чего-нибудь, а? — сказал Нефедыч, ожесточенно растирая обмороженные ноги. — Сил нету терпеть.

— Потравить, говоришь? — Сенька подул на исходящий паром чай, отхлебнул из кружки, задумался. — Во! Слушай. Проводим мы однажды учения, а рядом американский флот пасется. Жарища дикая — эскадра наша в теплых краях в ту пору была, и эти гады империалисты так и старались нам какую-нибудь пакость подстроить. А я вестовым был на флагмане. Тут, значит, посоветался наш адмирал со старшими командирами и вызывает меня: надо, мол, товарищ старшина второй статьи, срочно доставить секретный пакет на большой противолодочный корабль. Ну я чемоданчик с приказом к руке специальным захватом прикрепил так, что только с кистью оторвать можно, прыгнул в мотобот — и айда.

— Ну-ну, — Нефедыч даже пальцы перестал растирать.

— Отошел я, значит, от посудыны, а тут откуда ни возьмись американский эсминец. С другой стороны наш БПК — большой противолодочный корабль, но эсминец ближе. Ну, думаю, старшина второй статьи товарищ Ежиков, вот и настал твой звездный час — приказ ни в коем случае не должен попасть в руки врага. Хотел было ключиком запыстье отомкнуть,

да не тут-то было: волна ка-ак шибанет — ключ и того... на дно океанское пошел. А эсминец уже совсем близко, команда на палубу высыпала, смотрит, радуется добыче. Ну я и принял решение.

Сенька замолчал на минуту, выцедил остатки чая из кружки, похрумкав сахаром, искоса посмотрел на притихшего Нефедыча, проверяя эффект своего рассказа.

— Простился мысленно со своими родителями, с друзьями, матросами и... на глазах изумленных американцев — камнем в воду. Чтоб, значит, секретный приказ им в руки не попал...

— Хе! — неожиданно выдохнул Нефедыч. — Ну и даешь ты, парень. — Его добродушное широкое лицо расплылось в улыбке. — Дае-е-ешь! Да ты ж мне кино рассказываешь, которое я этим годом в отпуске смотрел.

— Да? — как ни в чем не бывало удивился Сенька. — Смотря-ка. Уже в кино вышло. — Он поднялся с коряги, на которой сидел, наглухо застегнул бушлат, натянул на голову шапку.

— Ну я пошел. Некогда мне греться.

И уже через какую-то секунду из-за полога палатки донесся его звонкий голос:

— Ну что, пехота, наполнили бочку? Смотрите, чтобы доверху, а то поувольняя всех, как говорил наш мичман, без выходного пособия.

Надрывно урча, водовозка медленно карабкалась в подъем, изредка пробуксовывая в особо скользких местах. За те рейсы, что Ежиков наездил к этой проруби и обратно, дорога, прочищенная бульдозером, стала ухабистой, появились небольшие, накатанные ветром заструги, а кое-где вода расплескивалась, тут же схватываясь на морозе разводами ледяных проплешин. Надо было бы продрать еще раз дорогу бульдозером, но они сейчас были на золотом счету, растаскивая трубы, подвозя дрова и материалы на трассу трубопровода. Днем еще куда ни шло: хоть дорога была видна, но сейчас...

Ежиков, осторожно выжимая педаль газа, медленно, но упрямо вел машину вверх по склону, выкручивая то вправо, то влево обмотанную изоляционной лентой баранку, объезжая особо опасные проплешины, которые тускло блестели в свете фар. Сейчас он боялся именно этих ледяных блюдц, на которых старенький «газон» пробуксовывал до основания истертыми шинами, и приходилось выжимать из себя и машины буквально все силы, чтобы проскочить еще один опасный участок.

Дорога вильнула в сторону, объезжая огромный котлован, из которого на стройку брали дробленый скальник, и круто пополнила в сопку. Пожалуй, это было самое опасное место, и Ежиков, цепко сжав зубы и почти слившись с баранкой и педалью газа, упрямо вел машину в крутолобый подъем, в который уже раз проклиная в душе бульдозеристов, которые не могли пробить более пологой дороги. А впрочем, и их можно понять: все это делалось в спешке, когда счет шел на секунды, а старую же прорубь, из которой качали для водовозки воду, выморозило небывалой стужей до самого дна.

Полоса размытого света выхватила из темноты матово блестящее ледяное блюдо. Сенька вывернул баранку влево и

вдруг почувствовал, как начинают пробуксовывать колеса и непомерной тяжестью потянула назад до краев наполненная бочка. Он крутанул баранку вправо, машинально выжал газ, машина взревела, и Ежиков скорее ощутил, чем увидел, как она медленно поползла по склону вниз. Пытаясь остановить водовозку, Сенька рванул тормоз. Что-то крикнуло под днищем, на мгновение машина остановилась и вдруг, набирая скорость, покатила назад.

Ежиков, все еще не веря в случившееся, остервенело выжал педаль тормоза, но, видимо, случилось то, чего он так боялся: поношенные тормозные колодки из-за сильного мороза отказали, и машину теперь несло назад к обрыву, в карьер.

Продолжая выжимать тормоз и по памяти выкручивать баранку, чтобы не налететь на валун, Сенька, обернувшись, посмотрел в заднее стекло, пытаясь найти подходящий сугроб, в который можно было бы «воткнуть» водовозку. Но, кроме темноты, в которой, сжираемая колесами, летела вертлявая дорожная лента, ничего больше не было видно.

Стало страшно.

Ежиков попытался вспомнить, в каком месте есть подходящий сугроб, но ничего толкового на память не приходило, и он продолжал лихорадочно крутить баранку, стараясь попасть колесами в наезженную им колею.

В каком-то месте машину сильно тряхнуло. Сенька почувствовал, как утробно екнула тяжелая бочка; водовозку рывком занесло в разворот, какое-то время она летела вниз на двух колесах, готовая вот-вот перевернуться.

Скорость росла с каждой секундой, и теперь уже было ясно, что «приткнуть» водовозку к сугробу не удастся, даже если он и найдет таковой. Где-то в подсознании промелькнула мысль прыгать, но Сенька тут же отогнал ее, обругав себя последними словами. Надо было спасать машину, которая сейчас, это Сенька отлично понимал, нужна была поселку гораздо больше, чем его жизнь.

За боковым стеклом промелькнула вешка, предупреждающая о закрытом повороте вниз. Ее он поставил еще прошлой ночью, когда впервые шел по этому склону.

Ежиков распахнул дверь и, крепко сжимая баранку, встал одной ногой на ступеньку, повернувшись к бьющему в лицо ветру. Обжигающий шквал ворвался в кабину, ударил по рукам, забил дыхание, острой резью заслезились глаза. Сенька почувствовал, что еще немного, и его собьет этой тяжелой морозной волной с подножки, и еще крепче обхватил баранку, то и дело выворачивая ее, чтобы не разбить о валуны или не опрокинуть водовозку.

Промелькнув белой гранью снежного заноса, остался позади опасный поворот. Сенька облизал ставшие бесчувственными губы, окоченевшей рукой вывернул баранку. Теперь осталось проскочить карьер и вывести водовозку на колею, полого спускавшуюся к реке.

От бьющего в лицо ветра стало невыносимо больно глазам, он уже не чувствовал своего лица, рук и удивлялся только, почему же его слушается машина. В какую-то секунду он понял, что больше не сможет выдержать этой пытки морозом,

и решил прыгать. Прыгать... Он уже наметил себе небольшой сугроб, который с огромной скоростью неся навстречу, но вдруг стало стыдно за себя, свою слабость, и он, сцепив зубы, с трудом пересилил себя, проводив удаляющийся теперь сугроб злым взглядом.

Темный провал карьера приближался и рос с каждой секундой. Когда до карниза оставались считанные метры, Сенькой опять овладел липкий, противный, забивающий сознание страх. Если здесь еще можно было спастись, выпрыгнув в снег, то там, над провалом, где дорогу обрамляла выбитая в сопке стена, прыгать было некуда.

Ежиков почувствовал, как от этих мыслей пойманным зайцем забило сердце, и, боясь, что он не сможет пересилить себя, еще крепче вцепился в баранку.

Водовозка на скорости влетела на карниз и, прошестев шипами по узкой кромке дороги, выскочила на пологую, матовую от безлунной ночи белизну сопки. Жаркая волна безумной радости ударила Ежикову в голову, он на мгновение расслабил пальцы, сжимающие баранку, и в это время водовозка подскочила на маленьком бугорке, от встряски глухо рыкнула наполненная бочка, и Ежиков почувствовала, что обледенелая ступенька уходит из-под ног. В какую-то последнюю долю секунды он успел оттолкнуться и, сгруппировавшись, кубарем полетел по склону.

Спасенная водовозка, благополучно проскочив пологий спуск к реке, остановилась в пятидесяти метрах от проруби, завязнув в глубоком снегу. Когда к ней подбежали люди, мотор все еще работал и только в распахнутой настежь кабине не было ее хозяина, старшины второй статьи орденосного Тихоокеанского флота Семёна Ежикова.

Очнулся он в больнице. Тускло горела лампочка, но он все же разглядел людей, стоявших возле него. Были тут врач в белом халате, знакомая медсестра, за которой Сенька когда-то пытался ухаживать, Нефёдыч и комсомольский секретарь Антон.

— Что... машина? — спросил Ежиков и не узнал своего голоса.

— Ты теперь не о машине думай, о себе, — сказал Антон.

— А чего с ней? — повторил Сенька.

— Чего, чего, зачегокался. — Нефёдыч сердито кинул рукавицы под мышку. — Отволокли ее в гараж. На яму поставили. Чего уж ей?!

— Не уберег, значит. А ведь она была для меня... как тот чемоданчик.

— Какой чемоданчик? — спросил Антон.

— Нефёдыч знает.

Ежиков отвернулся, и врач, точно только этого и дожидаясь, заговорил о том, что посторонним пора покинуть больницу. Когда Антон и Нефёдыч были уже в дверях, Ежиков окликнул их слабым и хриплым голосом:

— А что Серега Жарков, не приехал?

— Приедет. Ты теперь о себе думай, — сказал Антон.

— Значит, не приехал. Видно, уж не приедет. И водовозки нету. Что же будет?

— Ломит нас север-северушко, — вздохнул Нефедыч. Он и еще хотел что-то сказать, но Антон решительно выволок его за дверь.

XI

С осевшей на Красногорье темнотой Семенов сник. Каждый полчаса выходил из мастерской, смотрел в темную даль. Иногда ему хотелось рассказать обо всем завгару. А что бы это дало? Жарков засел в застругах — в этом теперь не приходилось сомневаться, а может, и замерз. Других машин, которые прошли бы по зимнику, все равно нет ни одной. Гнать бульдозер? Но пока-то он доберется...

Мастерская работала вторые сутки без перерыва. Повизгивали станки, слышался дробный перестук молотков; на трассе трубопровода не хватало инструмента — на морозе все ломалось удивительно быстро, — и его срочно приходилось ремонтировать.

Не зная, на что решиться, Семенов прошел из конца в конец мастерской. Ударом кулака распахнул дверь, остановился в проеме, в который уже раз посмотрел на белеющую ленту реки. Безжизненный зимник пропадал в темноте, и только ветер гнал по нему колющую поземку.

— Что делать будешь, Петрович? — спросил он сам себя. И вдруг грубо выругался: — Сволочь! Из-за тебя люди гибнут...

Он вдруг замер на месте, забыв про мороз. В голову пришла простая и неожиданная мысль: а что, если взять «газик» да махнуть по зимнику? Не пройдет, застрянет? Машина не та? Но ведь и он не новичок на Севере. А если и застрянет — не велика беда. Одним крохобором меньше, всего-то...

Засунув руки в карманы полупубка, Антон шел от костра к костру, от сварщика к сварщику, подбадривал перемерзших, с ног валившихся от усталости парней. Если еще вчера трудно было себе представить, что они смогут отогреть старый водовод и сварить новую нитку, то сейчас в это верилось: от котельной к реке тянулся сбитый из досок короб, в котором уютно лежали обмотанные утеплителем трубы.

— Антон, товарищ Старостин...

Он оглянулся, прикрываясь воротником от ветра, узнал слесаря Матвеича.

— Ну, что еще случилось?

— Я насчет Семенова...

— Что насчет Семенова? — не понял Антон.

— Варфоломеевский ГАЗ-51 разогревает. Я у него спрашиваю: куда, мол?... Молчит. Как бы беды не было.

Они подошли к гаражу как раз в тот момент, когда распахнулись ворота гаража и в проеме двумя яркими точками высветились заснеженные фары. ГАЗ-51 выполз из гаража, на

малой скорости проехал хозяйственный двор, развернулся, поров светом темноту, начал медленно спускаться к реке.

— Петрови-и-ич!.. Стой!.. — крикнул Антон.

Прыгнув на подножку проезжавшей мимо машины, Антон, ухватившись за ручку дверцы, рванул ее на себя. Дверца не поддалась.

Неожиданно машина встала, с глухим щелчком открылась противоположная дверца, из кабины, встав одной ногой на ступеньку, наполовину высунулся Семенов, тяжелым взглядом посмотрел на Старостина.

— Уйди, парень!

— Ты чего задумал, Петрович?

По скуластому лицу механика забегали желваки, он отвернулся.

— Ну? — крикнул Антон.

— ЗИЛ не дошел до базы... — глухо сказал Семенов.

— Почему так думаешь?

Механик вскинул глаза на Антона, проговорил четко:

— Серега говорил, будто вкладыши барахлят, просил посмотреть, ну а я... я... — И вдруг почти закричал в истерике: — Я же сам выпустил его из гаража, сам!..

— Так-ак... — Еще не веря в услышанное, Антон медленно спустился с подножки, обошел передок машины, остановился напротив Семенова, сказал сквозь зубы: — Тебя же за это судить мало...

Семенов вскинул голову, по его скулам опять пробежала волна желваков, сказал зло:

— Ну и судите!

— А ну вылазь! — Антон почувствовал, как захлестывающая волна бессильной злобы начинает наваливаться на него всей своей тяжестью, и чтобы сдержаться и снова как тогда, в общезнании, не натворить глупостей, сказал тихо: — «Газоном» здесь не поможешь. На базу пойдет бульдозер.

— А трубы?! — спросил Семенов. — На руках, что ли, носить будете?

— Трубы на руках будем носить, — сквозь зубы сказал Антон. И добавил: — Ты не будешь. Ты поедешь с бульдозера...

XII

Серый, похожий на раннее мглистое утро день кончился быстро, незаметно перешел в надвинувшиеся из тайги сумерки, которые быстро сгустились, поглотив в себе занесенные снегом берега, островерхие и крутолобые сопки, заснеженную ленту реки. В холодном безлунном небе зажглись первые звездочки, тускло замерцали над головой. Будто серебристое темное покрывало спустилось на скованную морозом землю. Холодная поземка продолжала все так же мести, как и два, и пять, и двенадцать часов назад, раскидывая негреющие языки огня. Вылезая из-под машины, Митрохин совал руки чуть ли не в самый костер, потом расчетливо, экономно подбрасывал в него перемерзшие сучья, снова грел руки и лез под холодное брюхо безжизненного ЗИЛа.

Митрохину не раз приходилось ночевать в открытом поле, когда он до армии работал в колхозе, и это было для него нормальным явлением, но сейчас он боялся неотвратимо надвигающейся ночи и лихорадочно докручивал последние болты поддона картера, еще не веря, что вся эта страшная работа закончена.

Почему-то вдруг впервые за прошедшее время страшно захотелось есть. Но это уже не был тот сосущий голод, который исподволь, тихой сапой, изматывал его все это время. Сейчас до рези в желудке захотелось умять ломоть черного хлеба, посыпанного крупной солью, запить это ключевой водой, а потом, обжигая пальцы, чистить отваренную картошку в мундире, макая ее в солонку, медленно и чинно есть, запивая домашней простоквашей.

Колька слотнул слюну, вспомнил своего бывшего бригадира Лободова, который иной раз по вечерам, задрав ноги на спинку кровати и мечтательно закатив глаза, говорил: «Эх, братцы! Вот возьму отпуск и махну на родину. Но до этого заеду в большой город Москву, в первый же вечер пойду в шикарнейший, я вам скажу, ресторан «Метрополь» и закажу себе огромный, как подметка моего сапога, бифштекс, а к нему дюжину пива. И буду, ребятки, гулять». — «А если тебя туда не пустят? — спрашивал кто-нибудь. — Там, говорят, в галстук надо быть и при параде». — «А у меня пропуск есть», — отвечал Генка и выкладывал на одеяло жилистый, костистый, похожий на пятикилограммовую кувалду кулак. «А ежели милиция?» — допытывались любознательные. «А я им так скажу, — отвечал Лободов. — Ребята! Ведь человек не галстуком и новыми штанами определяется. Может, я тем и хорош, что не люблю эту селедку на шею вешать и годами не снимаю робу».

И Кольке страшно захотелось поехать в отпуск вместе с Генкой Лободовым и пойти в этот загадочный ресторан «Метрополь». А потом махнуть вместе с Лободовым к нему в деревню, провести там лето, а оттуда привезти ребятам яблок, слив и груш, собраться у Жарковых и устроить огромный пир, но чтобы на столе в кастрюле обязательно стояла свежееотваренная картошка в мундире, как варила когда-то мама.

...Колька затянул последний болт и бессильно опустил руки. Вылез из-под машины, расслабленно посидел у костра. Только теперь, каждой клеточкой своего перемерзшего тела понял: все. Все! Он, Колька Митрохин, один, при шестидесятиградусном морозе, на ветру поменял штатные вкладыши! Дикая, необузданная радость захлестнула его, и вдруг, неожиданно для самого себя, он заплакал.

Значит, может, может быть таким, как Лободов, Серега Жарков. А ведь сколько раз опускались руки, бросал ремонт и, притаив с берега очередную лесину, закутавшись в Серегин полушубок, чуть ли не вплотную подсаживался к костру и отрешенно смотрел на огонь. Но затем эта пустота отпускала его, и, всплыв и выпив очередной котелок безвкусной воды, натопленной из снега, он снова лез под машину.

Колька улыбнулся, по-мальчишески шмыгнул носом и вдруг с тревогой подумал: а что, если машина возьмет да и не поедет?! Вдруг он что-то не так сделал?

Выкинув из кузова два ведра, Колька торопливо начал набивать их снегом. Выставив ведра в костер и замирая от страха, он забрался в кабину и нажал на стартер. Двигатель не шелохнулся. Колька выругал себя — разве так надо разогревать замороженную машину? — кинулся к костру, еще добавил в ведро снега. Когда вода забулькала, он вылил ее в радиатор, проверил разок заводной рукояткой, вылил второе ведро и снова начал набивать снегом опустевшее ведро. И когда поставил их в огонь, снова принялся крутить рукоятку. Так он бегал вокруг машины, вокруг костра, с ужасом думая, что мороз остудит кипяток, заморозит двигатель. Тогда все его муки понапрасну, тогда конец ему, а может быть, и Сереге, и всему поселку.

Митрохин сбросил с себя полубубок, укутал им заледеневший двигатель. И, преодолевая смертельную усталость, стал работать еще быстрее. Когда рукоятка пошла легче, он прыгнул в кабину, нажал на стартер.

Мотор тяжело заныл, словно сбрасывая с себя непомерно тяжелый груз. Машина мелко задрожала. И было для Митрохина это дрожание сладостнее всего, что он когда-либо испытывал и знал.

У него хватило терпения дать ЗИЛу разогреться как следует. Затем он натянул на себя теплый полубубок, по-хозяйски обошел машину, проверил, не затерялся ли где гаечный ключ, снова залез в кабину, вздохнул и положил руку на рычаг скоростей. Теперь оставалось самое главное — тронуться с места так, чтобы не полопались смерзшиеся баллоны. Из рассказов местных шоферов он знал, что это одна из главных опасностей на северных трассах. Даже при двадцатиминутной стоянке на таком морозе резина теряла эластичность, становилась хрупкой как стекло. И стоило рвануть с места, как покрышки и камеры разлетались на куски.

Сжав зубы, Колька зажмурился, отпустил тормоз и медленно, очень медленно, выжал сцепление...

XIII

Едва приметное в сгустившейся темноте заснеженное русло реки бесконечной лентой тянулось между сопок, извиваясь словно змея. Где-то высоко вверху пронизывающим стоном гудел ветер, но здесь было сравнительно тихо. Но сил уже почти не оставалось, и Сереге приходилось заставлять себя сделать шаг. И еще шаг. И еще. Очень хотелось сесть в снег, отдохнуть хоть немного. Он отбрасывал это почти осязаемое желание, хорошо зная, что если сядет, то уже не сможет встать. Холод сковывал, казалось, и мозг: мысли становились тягучими и сонными, и он пытался бежать, то и дело падая на негнущихся ногах и проваливаясь руками в снег.

Перед глазами рос, наливался жаркими красками пылающий костер. Казалось, вот он рядышком, еще шаг, два... присядь к нему, вытяни руки и медленно оттаивай. Сергей понимал, что о костре нечего и думать: еще два часа назад он пытался его разжечь, но руки не слушались, и в последней отчаянной по-

пытке запалил весь коробок, пытаясь подсунуть его под собранные хворостинки. Впрочем, сколько времени назад это было, он точно и не знал, давно потеряв чувство времени. Чем-то необыкновенно далеким, как во сне, вспоминались ЗИЛ и Колька Митрохин. От бега становилось вроде бы теплее, начинали покалывать налившиеся свинцовой тяжестью кисти рук, и только ноги оставались такими же бесчувственными. Ноги... Жарков старался думать только о них, словно думами можно было их отогреть.

Занесенный снегом зимник повернул влево и медленно пополз по отлогому склону сопки. Наизусть знавший эту трассу, Сергей пробежал немного, остановился ошалело-радостный: прямо за сопкой высвечивались огоньками домишки перевалочной базы.

«Спасен... Спасе-е-ен!» Эта мысль захлестнула его, и он, позабыв, что надо быть осторожным и правильно рассчитать остатки сил, побежал, хватая ртом обжигающий воздух.

В какой-то момент Сергей оступился, упал, попытался встать, упал снова и вдруг совершенно ясно понял, что все: ему уже не пройти эти оставшиеся километры. Скрипнув зубами, он выругался и на четвереньках пополз по дороге.

— Ничего, — едва шевеля губами, говорил он себе. — Отдохну немного и вперед. Ничего!

Он перевернулся на спину, чтобы немного отлежаться, и вдруг в завывании ветра ему послышалось натужное урчание мотора. Он приподнялся на руках. С каждой секундой урчание становилось все слышнее, и наконец из-за поворота вынырнул размазанный свет фар, затем показалась и сама машина.

«Колька! Неужели Колька?!» — промелькнуло в голове.

Сергей смотрел на надвигающиеся фары машины и думал только об одном; почему это у мужчин нет слез, когда хочется плакать?!





А. ТОРОСОВ

СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

Фантастический рассказ

Я проснулся и открыл глаза. Именно проснулся, а не очнулся. Я еще помнил куски своих снов, мне еще досаждали пригрезившиеся наваждения, и сознание едва успело произнести свое успокоительное: «Это ведь был сон...», и щека еще лежала на подушке, и не только лежала, но и помнила себя на этой подушке на протяжении нескольких часов, помнила мягкость и тепло этой подушки.

Вот вчера эта подушка не была ни мягкой, ни теплой, ни жесткой, ни холодной, но была противной. Это потому, что вчера я умирал. Вчера умирал, а сегодня выздоровел. То есть это сейчас мне можно понимать, что вчера я умирал, а вчера, до-

гадайся я об этом, то мне бы и вправду пришел каюк. Впрочем, кажется, я понял, что умираю, еще вчера. Ясно помню это сознание: я умираю... Выходит, я ошибся, потому что сейчас я не только жив, но и совершенно здоров, уж в этом-то невозможно заблуждаться... Да я и не заблуждаюсь, это я вчера ошибся, когда мне показалось, что умираю. Но из-за такой ошибки не стоит особенно расстраиваться. Лучше поскорее открыть глаза... Теперь посмотрим, что у меня перед глазами.

Так... палата. Обычная больничная палата. Или даже не очень обычная, чистая какая-то, маленькая и совершенно отдельная. Лежу на кровати, скучаю один... Интересными же были мои дела, если мне выделили отдельную палату! Хотя это новая больница, кто знает, может, теперь так не только для смертников... Я-то, во всяком случае, выкарабкался, а врачи такие штуки обычно умеют предвидеть...

Ну ладно, посмотрим, что дальше... Так, какие-то медицинские штучки, шкафчики... Ага, репродуктор есть... включим, непременно включим, но попозже, еще успею... А главное, очень светло. Оно и понятно — вон какое окно громадное. И солнце на дворе — сильнющее солнце, хотя окно и завешено чем-то белым. Вчера утром солнца не было, было пасмурно. И птицы не кричали. Эго сейчас стрижи кричат за окном, а вчера они не кричали. В декабре стрижи не кричат, в декабре их нет. Это в мае стрижи... Ну что ж, значит, вчера был декабрь, а сегодня май.

А что тут удивительного? Если подумать, то непременно можно найти объяснение. А раз так, то и думать неинтересно. Думать интересно тогда, когда заранее не ясно, есть объяснение или нет. Если заранее ясно, что объяснение есть, то оно и без всяких дум появится. Сейчас зайдет кто-нибудь, а с ним и объяснение. И незачем голову ломать. Никогда не любил ломать голову, если можно обойтись без этого. И потому никогда не любил решать задачи из учебника — зачем решать, если в конце книги есть ответ? А составлять задачи я не любил по другой причине: не то чтобы я не смог, скорее всего смог бы, но делать надо не просто то, что можешь, а только то, что можешь сделать лучше всех, или то, чего никто, кроме тебя, не сделает. Не всегда так получается — ведь задачи я в результате все-таки решал, приходилось... Зато сейчас я буду делать только то, чего за меня не сделает никто другой, например, сяду на постели.

...А это, оказывается, очень приятно — посидеть на постели. Задачи решать, в конце концов, тоже оказалось приятно. И на палату на мою посмотреть тоже очень приятно. Хорошая палата, и хорошая больница. С удовольствием можно поболеть здесь с недельку, особенно если ты совершенно здоров.

Ага, за мной, оказывается, наблюдали, потому что стоило мне усесться и оглядеться, как тут же дверь отворилась и в палату вошел очень приятный человек. Правда, сначала я увидел не то, что он приятный, а то, что он без белого халата. А он тем временем прошел к моей кровати, уселся на ней у меня в ногах, улыбнулся и сказал:

— Доброе утро!

— Привет! — помахал я ему в ответ рукой.

Помолчали, поулыбались. Потом я спросил:

- Вы врач?
- Никак нет.
- Так кто же вы? Медбрат?
- Ни боже мой!

И тогда я слегка удивился — не тому, что посетитель оказался просто посетителем, а последнему его восклицанию — ведь так выражались в нашей компании. Не спрашивайте, почему я не накинулся на гостя с вопросами, — я знал, что все равно он мне все скажет, никуда не денется. И гость заговорил первым:

— Пора знакомиться. Я Олег.

— Я тоже, — кивнул я головой, — но вы ведь это знаете, не так ли?

— Разумеется! И еще я знаю кучу всяких вещей, которые и вам было бы весьма полезно и приятно узнать, поэтому я, собственно, и пришел, но спешить мы не будем, ладно?

— Ладно, — согласился я, но он, очевидно, не вполне мне поверил, потому что стал объяснять:

— Видите ли, объем сведений, которые я должен буду вам сообщить, столь велик и столь необычен, что вряд ли вам удастся задавать вопросы по делу. Это вовсе не значит, что вам возбраняется задавать вопросы, спрашивайте на здоровье, но отвечать я буду далеко не всегда, и пусть это вас не обижает — я буду поступать так отнюдь не из желания что-либо скрыть, а просто...

— Понимаю, — перебил я его, — просто узнавать надо по порядку, а мои беспорядочные вопросы не всегда будут удовлетворены, так?

— Именно! — восхитился Олег. — Впрочем, кому, как не нам с вами, понимать друг друга с полуслова? На это есть причины, и довольно веские, вы вскоре узнаете, а пока поверьте, что нам следовало бы уже перейти на «ты».

— Верю и согласен.

— Вот и прекрасно, — сказал Олег и полез в карман за сигаретами. Оказались мои любимые, тбилисский «Люкс», но я, и в начале-то не очень склонный к удивлению, сейчас и вовсе воспринимал все как должное — у приятного человека и сигареты должны быть приятными. Без лишних раздумий я потянулся к пачке. Олег пододвинул ее мне, а потом вдруг спросил: — Разве ты куришь натошак?

Я действительно не курю натошак, просто сейчас я забыл об этом, а тут сразу вспомнил, и ужасно захотелось есть. И тогда Олег, ни слова не говоря, сунул свою сигарету обратно в пачку, пачку положил мне на тумбочку, а сам вышел за дверь и мгновение спустя вернулся, толкая перед собой столик на колесах. На столике дымил кофейник и стояла кастрюлька. Олег поднял крышку, и я увидел сосиски с тушеной капустой. Недолго думая, я ткнул в сосиску вилкой, обмакнул в горчицу, поднес ко рту, откусил половину и спросил жуя:

— А вы что же?..

— Благодарствуйте, — отвечал Олег, — я никогда не закусаваю. — И тут мы уже не улыбнулись, а рассмеялись — мы вполне понимали друг друга.

Ели молча, стараясь побыстрее управиться с завтраком, чтобы

возобновить беседу. Когда с сосисками было покончено, я взялся за кофейник, но Олег опередил меня, разлил кофе по чашкам. Я схватил чашку, обжигаясь, проглотил кофе и поставил чашку на блюдце. Одновременно со мной звякнул о блюдце своей чашкой Олег. Я откинулся на подушку, прислонив ее к спинке кровати. Олег откинулся к противоположной стенке, мы глянули друг на друга и хором произнесли:

— Ну-с, а теперь закурим.

На этот раз я уже не рассмеялся. Я внимательно посмотрел на Олега, протянул ему пачку с тумбочки, и он стал перебирать в ней пальцами, пока не выбрал себе сигарету. Я последовал его примеру, выбирая сигарету с плотно приклеенным фильтром: бывает у моего любимого «Люкса» такой недостаток — плохо приклеенный фильтр; затем я стал разминать сигарету в пальцах и продолжал смотреть, как то же самое делает Олег, потом я бессознательно потянулся туда, где обычно в правом кармане пиджака держу спички, а Олег тем временем вытащил из правого кармана своего пиджака коробок, зажег спичку, дал мне прикурить, прикурил сам и погасил спичку, помахав ею в воздухе.

Все его жесты были мне очень знакомы.

Сейчас Олег курил, выпуская дым через как-то странно искривленные тонкие губы.

Я выпустил дым, опустив левый уголок рта, и подумал, что ничего странного в его искривленных губах нет; я и сам их искривляю точно так же. Вот именно так же.

Тогда я спросил:

— Кто... вы?

— На этот вопрос мне придется ответить, хоть он и не в очереди, — улыбнулся Олег и продолжил цитатой из моей любимой книги: — «Давы не дать твоему изумлению развиваться до степени болезненной...»

Цитата подействовала на меня успокоительно, но Олег тут же продолжил:

— Я — это ты.

«Готово дело, — мелькнуло у меня в голове, — я в больнице!» Вот откуда отдельная палата и май за окном! У меня была амнезия, и я ничего не помню. А это либо псих из соседней палаты, либо врач с каким-то диким методом лечения, либо... либо моя галлюцинация».

Нестерпимо захотелось проверить последнее предположение — надавить на глаз, но сделать это было как-то неудобно. Однако Олег, по-прежнему улыбаясь, кивнул, и я надавил, подумав при этом: «Плеваты! Не хватало еще стесняться психов, врачей, а тем более собственных галлюцинаций!» Олег раздвоился, но никуда не исчез. Оставалась первая альтернатива.

— Ты не в больнице, — заговорил Олег, — не удивляйся, что я как будто читаю твои мысли. Просто я прошел уже через все это, а еще я прошел через первые тридцать лет твоей жизни. Короче говоря, я — это ты в тридцать лет, а сейчас тебе тридцать четыре.

— Думаешь, стало понятнее? — спросил я, стараясь говорить как можно язвительнее, но это мне не удалось.

— Слушай и не перебивай. Потом, когда я закончу, я пред-

ставлю тебе любые доказательства моей правоты, а сейчас слушай и старайся верить.

Обещание доказательств — сильное обещание. На меня, во всяком случае, оно всегда действовало, и я, бросив в угол погасшую сигарету, сказал:

— Говори.

— С тех пор, как ты умирал, и по сей день прошло много времени, очень много...

— Это-то я вижу, — кивнул я на окно, — ведь сейчас май?

— Май, и притом не одна тысяча девятьсот восьмидесятый... как ты думаешь.

Мне бы и в голову не пришло об этом думать, я ведь просто знал, а выходит, на тебе!

— И амнезии никакой у тебя не было, — продолжал Олег, — было гораздо хуже. Ты был... как бы это выразить... Почти мертвым... Да, в сущности, совсем мертвым!

Так, понял я, летаргия. Правда, к чему этот бред насчет «Я — это ты»? Хотя, черт его знает, я, может, провалялся трупом не месяц и даже не год... И теперь у них такие вот методы. «Я — это ты». Он врач. И он в меня вжился.

Ничего особенного. Я провалялся трупом много лет, и теперь у меня нет ни родных ни знакомых?..

— Как же так, — повернулся я к Олегу, — выходит, я теперь совсем один?

— Ну, вовсе нет, — улыбнулся Олег, — во-первых, с тобой я, а потом кое-кого из знакомых ты тут увидишь, обещаю тебе. Но об этом чуть позже, ладно? В общем, ты умер. Ты действительно умер тогда, в тысяча девятьсот восьмидесятом, и не от саркомы легкого, как ты сейчас подумал... А впрочем, считай, что от саркомы. Я бы на твоём месте и считал, тем более то, от чего ты умер на самом деле, сейчас ни малейшего значения не имеет... С тех пор прошло много лет... Очень много...

— Сколько именно? — спросил я.

— А какая разница? Ты что, сможешь почувствовать, если я скажу тебе: тридцать тысяч? Или сможешь усечь разницу между тридцатью тысячами и пятьюдесятью? Тем более что в действительности прошло... — он сделал паузу, — черт его знает, сколько... У него сейчас нет летосчисления. В нашем смысле нет.

— У кого «у него»? — не понял я.

— У человечества.

Мне стало интересно. Я не могу сказать точно, что именно сейчас испытывал — веру или недоверие. Вернее всего, не было ни того, ни другого, а только любопытство. Правда это или нет, все равно очень скоро выяснится, а сейчас мне ничего не грозит, это-то я, глядя на Олега, знал, от него мне ничего не грозит, и нечего бояться, а значит, и терзаться вопросом: «правда — неправда?» — нечего, а надо слушать, благо слушается.

— Но об этом потом, — сказал Олег, — ты все абсолютно узнаешь, но чуть погодя, сейчас же слушай главное: ту умер, прошло много лет, и тебя воскресили.

А вот этому я точно не поверил:

— На кой я ему, интересно, сдался, чтобы меня воскрешать? В музей монстров оно меня поместить хочет, что ли?

— Кто хочет? — не понял на сей раз Олег.

— Человечество.
— Это я сейчас объясню... Ты бы смог обойтись без пальцев? Вернее, без одного пальца?
— Ну, смог бы...
— А вот пианист нет. Да и ты с удовольствием бы вырстил отрезанный палец, если бы это было возможно, так?
— Так...
— И если бы у тебя отрезали палец, тебе ведь было бы больно?
— Разумеется!
— Ну так вот, грубо говоря, все мы, все люди — пальцы человечества. Когда мы умираем, когда нас отрезают, ему больно... И так же, как и пианист, оно не может обойтись без любого из нас... И как только у него появилась возможность, оно стало отращивать потерянные пальцы. Вот и все, и никакого бессмертия души. Мне ведь не хуже тебя известен мой... твой догмат об абсурдности такого бессмертия!

Да, есть у меня такой догмат. Я считаю, что только безмерное тщеславие человека могло заставить его поверить, будто бог или там природа, не важно кто, настолько заинтересованы в его душе, что позаботятся о ее бессмертии. Будто у бога или у природы нет никаких других занятий, как только пестовать бессмертную душу. Да им, богу и природе, с высокой колокольни наплевать на то, смертна наша душа или бессмертна и есть ли она вообще. Но то богу и природе, потому, как бога нет, а природа бездушна. Человечество — другое дело. Человечеству далеко не наплевать, смертна или бессмертна душа человека, и, как только оно смогло, оно сделало... Разумеется, так. Теперь я верил.

И тому, что этот человек передо мной я, я верил тоже. Это я, или мой двойник, или еще что-то, черт его знает что, но именно что-то в этом роде...

— Дошло? — спросил Олег.

Еще как дошло.

— Конечно, тебе легко, — продолжал он, — мне тоже было ничего — меня встречал Наш Первый... Вот каково ему пришлось, представить себе возможно, но трудновато...

— Наш Первый — это тоже я? Мы?

— Да.

— Сколько же нас здесь? И откуда нас взялось так много?

— Нас здесь трое, и это вовсе немного... Кое-кого тут насчитываются десятки. Скажем, Моцартов.

Это было пока непонятно, но я и не настаивал — разберусь. Пока, пока оставалась одна маленькая формальность. Последняя дань недоверия. Вернее, и не недоверия даже — чувства недоверия у меня не было, а было сознательное стремление удостовериться окончательно — для всякого родившегося в наш рациональный XX век такое поведение было и естественным и обязательным. Я вылез из постели, ничуть не стесняясь перед Олегом своего неглиже, подошел к окну и отдернул занавеску.

Мир за окном был самым обычным. Я стоял у окна обыкновенного дома-башни, этаже этак на десятом, вокруг высились такие же дома, за ними виднелась река, между домами росли деревья и трава, там ходили люди, а в окнах домов и на балконах тоже кое-где виднелись люди, и вид у всех был самый обычный,

деловито-спокойный. На крышах домов я увидел телевизионные антенны, и это меня доконало — неужели врет?

Но Олег — он понимал мое состояние, — он был рядом и негромко говорил:

— Погоди думать... Смотри пока, смотри внимательнее...

И я увидел. Я увидел, что река была слишком чистой — у домов никогда не текли такие чистые реки. Воздух, позволивший мне разглядеть это, тоже был, очевидно, невероятно чистым. Еще я увидел, что нигде, куда только доставал мой взгляд, не было никаких труб, никаких строений производственного вида, но это еще не все — в конце концов, мог же я оказаться в каком-нибудь курортном комплексе! Главное, нигде вокруг, хоть домов и было кругом очень много, не было видно ни одной дороги, да что там дороги, не было ни одной асфальтированной дорожки, и, разумеется, нигде не было ни одного автомобиля. А самое главное, я увидел, когда проследил взором за пальцем Олега, что-то показывающим мне выше домов и антенн, выше кружащихся стрижей, — там летали какие-то птицы, но очень скоро я разглядел, что это за птицы, — это были люди.

Одни из них, летевшие стремительно и, видать, с какой-то целью, имели крылья, изогнутые таким же серпом, как и у ласточек, и такими же ножницами, как хвост у ласточки, оканчивались... — или являлись? — их ноги. Такие люди исчезали из виду быстро, быстрее ласточек. Другие, очевидно, летали просто так, без всякой цели, и крылья имели большие и широкие, как у орла, и махали они ими редко и медленно, а больше парили... Я смотрел на них, задрал голову, пока не свело шею. Я уже не помнил, что подошел к окну для того, чтобы в чем-то убедиться, мне теперь просто хотелось смотреть на них, а еще больше мне хотелось туда, к ним...

— Хочу туда... — прошептал я.

— Полетишь, — говорил рядом Олег, — полетишь обязательно и очень скоро... Это что, это пустяки, то ли еще будет...

— А как они летают? — спросил я, оторвавшись от окна наконец. — Что у них за приборы?

— А у них нет никаких приборов! Разве тебе не ясно, что полет с помощью любого прибора только половина полета? Что бы тебя ни несло — будь то самолет или антигравитационный пояс, — но ты всегда будешь не столько летуном, сколько пассажиром... Главное счастье полета не в этом... У них свои крылья. И летают они сами... Ты, кстати, не удивляешься тому, — резко, как мне показалось, изменил Олег тему, — как мало я на тебя похож внешне, хоть и говорю, что я — это ты?

«Еще как удивляюсь!» — хотел было я воскликнуть, но тут заметил, что удивляться-то, собственно, стал только после его вопроса.

— Действительно, почему, — спросил я, — почему ты так мало на меня похож и почему я так мало этому удивляюсь?

— Потому что я такой, каким бы ты и хотел себя видеть. Потому что мы теперь сами можем выбирать и делать свою внешность. И крылья. И все, что угодно...

— Свобода формы, — понял я, — и скоро? Скоро я смогу?

— По-разному, — пожал плечами Олег.

— А ты? Как скоро смог ты?

— Не скажу, и ты сам поймешь почему... Не дай бог по какой-либо причине в день пробуждения у тебя не получится. Гарантирован ли ты от депрессии или хотя бы просто от досады?

— Нет, — ответил я, недолго подумав.

— Вот видишь? Зачем же сознательно идти на риск испытать досаду?

Вот так! Мне еще привыкать и привыкать к этому миру, где даже досаду стараются предвидеть и избежать!

— В общем, к планомерным занятиям ты приступишь с завтрашнего дня, и там видно будет, а сегодня только общее ознакомление... Тебе, кстати, не холодно? У нас все же не тропики!

— А где моя одежда?

— Вон в том шкафу.

Одежда мне понравилась.

— Ты выбирал?

Олег кивнул.

— А о сигаретах для меня ты не мог позаботиться? — спросил я, закончив одеваться и шаря в левом кармане пиджака, где обычно ношу сигареты.

— Бери эти. — Олег протянул мне свою пачку. — Я ведь уже не курю... Сегодня просто за компанию с тобой. Ты тоже вряд ли докуришь ее до конца, эту пачку, как и я. А мне ее дал Наш Первый. Сигареты, кстати, совершенно безвредные, и одного этого достаточно, чтобы бросить курить, правда?

Сигарета сейчас же потеряла для меня вкус. На тумбочке стояла пепельница, о которую я ее немедленно и загасил.

— Действительно, — сказали мы, — как унизительно быть рабом привычки, которая даже не вредит здоровью. Нужно избавляться от привычек, потому что привычки закабаляют, — сказали мы и рассмеялись.

А я добавил:

— Но пару раз я еще, пожалуй, покурю. По привычке.

И мы снова рассмеялись, а я положил сигареты в карман.

— Должен признать, — сказал я, отсмеявшись, — что встречу мне подготовили на уровне. Ведь все эти дома — это же специально для меня и для таких, как мы, верно? А для людей, скажем, из средневековья, тут ведь и оттуда имеются, правда? Так для них, что же, замки есть и города средневековые, да?

— Есть, конечно... Ты, очевидно, захочешь посмотреть? Увидишь немало забавного! Ведь для большинства из них инкубационный период длится куда больше нашего! И они продолжают жить, как жили, дерутся на турнирах, ходят в крестовые походы...

— Дерутся на турнирах? Значит, и убивают?!

— Конечно. но какое это сейчас может иметь значение? Всякого убитого немедленно оживляют...

— Однако! — возмущился я. — Оживляй не оживляй, но ведь убиваемому-то больно!

— А аппендицит вырезать не больно? Но ведь в наши дни шли на эту боль для более важного результата, а уж теперь...

— И какой же результат достигается теперь?

— А такой. что почти каждому одного раза оказывается достаточно, чтобы проникнуться идеями гуманизма. После этого их развитие убабляется во много раз... Впрочем, встречаются и

упорные. Мне вот недавно попалась книжка, а для тех, кому они нужны, книги тут есть, и старые и новые, и вот ее автор, французский рыцарь Бозмон де Вильбуа, он уже достиг нашего уровня, а пишет про одного лотарингца, Вольфрама фон Грюбенау. За десять лет после своего первого оживления тот был убит восемь раз, но и не думает успокаиваться, все воюет... Сам Бозмон убил его разок случайно во время турнира, почему им и заинтересовался. А вообще, насколько я могу судить, с ними — с теми, кто был до нас, — очень много хлопот... Но подход дифференцированный.

— Это как?

— Ну, я не знаю, чем при отборе руководствуются; но вот, скажем, некоторым верующим говорят, что они попали в чистилище и что от их дальнейших поступков зависит их судьба. Представляешь, с каким рвением те берутся за науку?

— Представляю, — сказал я, — но ведь это обман?

— Обман? — хмыкнул Олег. — А это не обман? Ты, что же, действительно был оживлен в этой палате? — Он обвел руками стены. — Но ведь ты и не смог бы представить себе то место, где тебя оживили, иначе как палату, вот для тебя и создали вещественное оформление твоего восприятия... А те не могут себе представить иного места после смерти, кроме чистилища. Вот им, чтобы зря не волновались, и говорят, что они в чистилище. В ад сажать жалко, а из рая они уходить не захотят... Да, хлопот с ними много...

— А с нами?

— С нами все же легче. Нам куда скорее можно сообщить, где мы находимся...

— А ведь, пожалуй, — прервал я его, — наше представление о том, где мы находимся, не многим больше соответствует действительности, чем если бы мы считали себя в чистилище...

— Пожалуй, так, — согласился Олег и поднялся с кровати, на которую незадолго до того уселся. — Однако пора менять вещественное оформление твоего представления, не так ли? Не век же тебе жить в этой палате?

— А что, ее тоже можно... трансформировать?

— Разумеется, и сейчас я займусь именно этим. Надеюсь, за последние четыре года твои вкусы не слишком изменились?

— Да вообще, по-моему, не менялись! — пожал я плечами.

— Ну, так не бывает, но, в общем, я справлюсь... Спускайся вниз, я приду через пару минут...

— А мне нельзя посмотреть?

— Зачем? — возмутился Олег. — Я ведь готовлю тебе сюрприз! Придешь вечером и увидишь квартиру. А теперь иди! — И он подтолкнул меня к дверям из палаты.

За дверью оказался самый обычный коридор многоквартирного дома башенного типа. Как и везде, в конце коридора была дверь на лестничную клетку и к лифту. Хотя я и предполагал увидеть что-то в этом роде, а все равно подсознательно ожидал выйти не в обычный коридор, а в больничный, но, как ни велико было это мое изумление, прошло оно быстро, и вскоре я уже нажимал на кнопку вызова лифта. Надо ли говорить, что кабина оказалась на этаже и дверь немедленно распахнулась?

Внизу было прекрасно — трава, деревья, а впрочем, кто не знает, что это такое — майский день? Особенно для человека, который вчера, в декабре, умирал, а сегодня, в мае, здоров.

Нет, во мне не было ничего от состояния выздоравливающего. Тело не помнило болезни. О болезни помнила голова. То есть не помнила, а знала — вчера была болезнь. А сегодня никакой болезни нет. Меня воскресили. Здравствуйте.

Здравствуйте, мои красивые новые современники. А кстати, действительно, до чего они красивые!

Люди попадались мне навстречу нечасто, все, как и я, шли куда-то неспешным шагом, очевидно, по делам тут ходят не пешком, и все мужчины и женщины, были красивы на удивление...

«Вот они теперь какие... — подумал я, но тут же до меня дошло. — Стоп, это ведь не потомки мои, а старые современники! Они ведь все из двадцатого, и скорее всего из Москвы, очень уж дома вокруг напоминают именно Москву. Значит, все вы — мои современники, и любого из вас я мог встречать на улицах Москвы, так? Да нет, не так! Ничего похожего на эту вот девушку в удивительном платье я на улицах Москвы не встречал — такое бы не забылось... Боже, как она идет... А впрочем, вот эта разве хуже? Где ты видел парней как вон тот, например, что, смеясь, бежит за девушкой, от одного вида которой щемит сердце? Значит, все же потомки? Хотя, тьфу ты, черт, нет, конечно, нет! Свобода формы? Да, именно она!

Значит, теперь внешность ни о чем не говорит? Что может сказать внешность теперь, когда всякий кроит себя по своему вкусу, а если у кого не получается, то находятся портные, которые помогают... Вот и смотри после этого на лица...»

Мне стало грустно, я повалился на траву и стал смотреть на свой дом, пытаясь определить свое окно, не нашел и перевел взгляд на подъезд, ожидая, когда появится Олег.

«А кстати, Олег... Он ведь выглядел раньше так же, как я... Теперь он выглядит много лучше... Именно так, как я и сам хотел бы выглядеть. Так он сказал, так оно и есть... Стоп! Выходит, каждый теперь выглядит так, как он хочет? И значит, — я даже подскочил от радости, хлопнув себя по лбу, — значит, на самом деле внешность теперь говорит гораздо больше, чем раньше! Значит, теперь я вижу не результат слепой комбинации генов — ушки мамы, глазки папы, а то, чем человек хочет быть! То есть то, за что он теперь сам отвечает! А это куда важнее, конечно! Внешность теперь говорит куда больше о том, что внутри...

Ну вот, скажем, та, что прошла слева, очень красива и очень мне нравится, а это значит, что у нас одинаковые вкусы. А вот та, что идет прямо на меня, но сворачивает в сторону, красива не меньше, я это понимаю... понимаю, но не чувствую. И значит, вместе нам с ней делать нечего. Черт возьми, вот это да!»

Я снова повалился на траву.

«Этак я голову тут скоро потеряю от такого обилия красавиц, — подумал я, улыбнулся и успокоился: — Не потеряю, привыкну к тому, что красота норма, а не исключение, и даже, может, пойму наконец, отчего бывает любовь... Ведь слишком

часто раньше приходилось считать, что из-за красоты; а вот тут, где все красивы, нельзя же любить всех? Пусть даже не всех, а только тех, чья красота мне нравится?.. Интересно — красота уже может нравиться и не нравиться. Хм, красота — и не нравится. Не в моем, видите ли, вкусе! Но тут и таких, какие нравятся ого-го, сколько! Так вот, не всех же любить?

А между тем тут любят, я вижу. Вот все тот же русоволосый гигант, что посадил свою подружку себе на плечи и лезет с ней на верхушку тополя, — он ее любит, свою девчонку! Для этого одной силы мало, нелюбимую на верхушку тополя не потащишь!»

И мне тут же захотелось посадить себе на плечи мою любимую и полезть с ней — да что на тополь — на крышу этого вот дома. Но не было у меня пока такой силы и не было любимой. Давно не было. Я бы не узнал ее, если бы она была здесь, та, которую я мог бы полюбить. Я уже начинал ее любить — странно звучит: начинал любить, но это было так. Еще чуть-чуть, и я полюбил бы. Но я умер.

А теперь — здесь она или нет? И вообще, всех ли они воскресили или воскрешают, как меня, или только некоторых? И как? Очень интересно — как?

И вот что еще интересно... О, это настолько интересно, что я даже похолодел... Пардон, меня ли воскресили? Меня?

То есть, разумеется, я Олег. Тот самый, что вчера умирал... Или настолько точная копия, что уж сам-то, во всяком случае, разницы не найду. Это-то они могут, через миллион лет после нашей эры... Да для меня сегодняшнего это, в общем, без разницы. Если бы мне сказали тогда — ты умрешь, но через миллион лет тебя воскресят. Сейчас ты закроешь глаза и умрешь, а через мгновение снова откроешь... через мгновение... Так вот, кто же открыл глаза через мгновение, тот ли, кто умирал тогда, или я, открывший глаза, только копия его? О боже, где Олег? Он не мог об этом не подумать, он должен знать! Олег!.. А впрочем, разве я не знаю, что мне скажет Олег? Ну-ка попробуем: «А откуда ты знаешь, что через полчаса, да что через полчаса, через секунду это будешь опять ты, а не кто-то, чья жизнь началась с того, а не с этого мгновения? Разве для тебя в настоящем есть способ убедиться, что и в будущем это будешь ты? Ну и просто, когда ты ложишься спать, откуда ты знаешь, что проснешься именно ты, а не твоя копия? Только из-за того, что утром будешь чувствовать себя тем же, кем был вчера? А сейчас ты разве себя не чувствуешь тем же? Все дело в том, что вечером ты уверен в своих застрявших ощущениях, у тебя есть на сей счет богатый опыт, а оживляют тебя впервые. Если бы тебя с самого рождения ежедневно умертвляли, а потом оживляли, ты относился бы к этому так же спокойно, как к ежедневному сну. И, наоборот, если бы впервые заснуть тебе пришлось в сознательном возрасте, по пробуждении ты точно так же стал бы спрашивать: ты это или не ты. А способ в этом удостовериться точно так же не нашлось бы, как и сейчас. А раз нет такого способа, то и думать над этим совершенно бессмысленно. Все».

Олег скажет именно так. Я это знаю, потому что я Олег. Вот разве что еще в случае со сном тело, тело-то остается одним и

тем же, но это и вовсе просто: ведь и без всяких воскрешений все клетки в теле человека несколько раз совершенно обновляются в течение жизни. И что же? Разве от этого человек перестает быть одним и тем же, что для себя, что для окружающих? И хоть обычно такое обновление происходит постепенно, а не скачком, но все равно, появляется ли какая-нибудь разница, установить сейчас совершенно невозможно. Нет способа. А раз нет способа, то думать сейчас над этим дальше абсолютно бессмысленно. Мой век, век кибернетики, приучил меня к этому.

И тут раздался шум, я поднял голову и увидел, что с небес на меня планирует Олег. Вместо рук у него крылья, на крыльях перья, но, как только ноги его коснулись земли, крылья и перья исчезли, снова появились руки, а на руках были рукава пиджака.

— Здорово! — восхитился я. Особенно меня восхитили рукава: — Теперь даже это умеют? — показал я на них.

— Теперь умеют гораздо больше. Наш Первый летает уже вообще без крыльев.

— Кстати, где он, этот Наш Первый, и откуда он взялся, и откуда взялся ты, и, вообще, объясни мне все наконец...

— Сядем, — указал Олег на траву, откуда я только что поднялся, — вечер вопросов и ответов переходит в стадию одних ответов. Ответ первый: Наш Первый — в эмпириях. Но сначала я поспешу утешить твое задетое самолюбие — не правда ли, тебе кажется странным и обидным, ну хоть слегка, что он не пришел тебя встретить, а?

Я пожал плечами.

— А то ты не знаешь!

— Знаю. Ну так вот, он непременно придет, а потом ты пойдешь к нему, но сейчас в вашей встрече нет никакой нужды. Если бы она была, он был бы здесь. Ему виднее. Дело в том, что он уже состоялся. А мы пока ходим в детский садик, — Олег указал рукой вокруг. — Сперва я попробую тебе рассказать о том, что оно сейчас представляет, насколько я сам это понимаю, разумеется...

Я не стал спрашивать, кто «оно». Я уже знал — человечество.

— В общих чертах, произошло то же, что и тогда, когда атомы слились в молекулы, молекулы — в белок, белки слились в клетку, клетки слились в колонию, а потом из колонии развился организм. В колонию человечество слилось еще задолго до нас, а потом из колонии оно выросло в единый организм. Все они теперь одно, понимаешь? Каким-то образом они мыслят вместе... Произошло гигантское усложнение структуры... Мне не до конца понятно, хотя какое там не до конца, мне абсолютно не понятно, каким образом это могло произойти. Попробуй объясни клетке, что такое организм. Теперь человечество везде. Для него нет ни пространства в нашем понимании, ни времени, а вернее, для него нет власти пространства и времени над ним... Да что говорить — что бы мы тут ни насочинили о его безграничном могуществе, все равно выйдут пустяки по сравнению с тем, что есть... Попробуй представить себе питекантропа, рассуждающего о всемогуществе человека XX столетия?..

— Как в детстве, — подхватил я, — мечтал, когда вырасту,

заработаю сто рублей и скуплю все торты в кондитерской. А когда вырос, то о тортах и не вспомнил...

— И это тоже, — согласился Олег, — конечно, наши проблемы несравнимы... Но, ты видишь, тут я знаю немногим больше твоего, представляй себе все, что только сможешь, и ошибешься только в сторону недобора...

Мне стало жутковато...

— А как оно... они то есть выглядят?

— Сам понимаешь, каждый из них может быть на вид каким угодно, это даже нам доступно... Кстати, как мы и предполагали, люди оказались не единственной расой во вселенной, и нынешнее человечество включает в себя все расы, какие только в ней есть. Так что люди сейчас какие угодно, но в основном каждой расе больше нравится свой исконный облик. Наш Первый похож на меня. И на тебя.

Мы помолчали.

— Главное не стоит огорчаться. Немного времени пройдет, и мы дорастем наконец до него и сольемся, и нам сразу станет все ясно, но и тогда никому не удастся высказать эту ясность на том языке, которым мы сейчас пользуемся... Наш Первый был терпелив, я досаждал ему вопросами много часов, а он пытался ответить, но единственное, что ему удалось, это доказать мне наконец, что я не могу его понять. И тогда я отстал, извинившись. А он ничего другого доказывать и не собирался, поскольку знал, что ничего другого и не выйдет. И если тебе недостаточно моих слов, ты можешь отнять у него столько же времени, сколько и я, но результат будет таким же, разве что ты стал гением за те четыре года, что мы... не виделись.

— Я не стану ему досаждать. Но кто наконец он? И кто ты?

— Все мы — я. У человечества теперь всечеловеческая память. Оно помнит все, что было с ним, но, как и отдельный человек, не все одинаково, а кое-что и ему не удастся, скажем, запомнить незначительное. Запоминается что-то особенное, ведь так? И ты удивишься, когда узнаешь... Впрочем, погоди-ка, сначала расскажу, что запоминается. В первое время запоминаются Звездные часы... Момент творчества, момент озарения, момент проникновения... Эти мгновения отпечатываются во вселенной, они отпечатываются и в памяти человечества... Так было всегда, только в наши дни для этого служили книги, картины, ноты, документы... Теперь запоминание идет непосредственно, и потому теперь никто не умирает — его помнят... А мы умирали, и память о нас оставалась в виде чего-то, и с теми, с кем это произошло, с теми, чьи мысли, чья суть, выраженная в книгах ли, в делах ли, дошла до настоящего времени, было проще всего... Оказывается, это очень легко — восстановить автора по его книге...

— По каждой книге? — Я представил себе легионы авторов, выпускавших сотни тысячами тиражами, и у меня закружилась голова.

— Нет, что ты, — успокоил Олег, — я, правда, не совсем себе представляю, в чем тут дело, но из каждого следа — всякая книга это только один след — можно воссоздать только одного человека. Тиражирования не происходит, оно и не нужно никому. Но дело не только в этом. По неясным для меня при-

чинам в результате восстановления след исчезает. Может быть, потому, что памяти незачем хранить следы того, что само в ней содержится?

— Я что-то понял, не знаю, правда, что, но... продолжай.

— Так вот, оказалось, очень легко восстановить автора по книге, композитора по музыке, словом, творца по творению... Помнишь, я говорил тебе, что сейчас есть десятки Моцартов? До настоящего времени дошли десятки его творений, понимаешь?

— Понимаю! Значит, ты... Четыре года назад... Я тогда написал, я помню... Значит, это по ней ты восстановлен?

— Да.

— Пережила, значит, века моя вещичка... Хотя одна-единственная из всех моих, но пережила...

— Увы, все гораздо хуже... Из написанных в XX веке книг сохранились все или почти все, так уж было поставлено библиотечное дело. Правда, далеко не в каждой из них имеется след души автора. В моей и твоей книгах такой след оказался. Хотя... Увы, то была обычная, заурядная книга, просто во всякой книге, в самой заурядной, есть след души автора, иначе это не книга, а просто набор черных типографских знаков. У нас все же была книга.

— Но ведь книга, книга-то была не одна! Все остальные, что же, набор знаков? — Я вскочил на ноги.

— Поверь, мне так думать не приятнее, чем тебе!

Я поверил и сел.

— И наверное, — продолжил Олег, — все еще не так плохо, просто выбрали самую лучшую и восстановили, поскольку по ней легче всего. Пройдет время, и они станут восстанавливать и по другим — не могут же они сделать сразу все. Кто может сразу все, тому и делать-то нечего, не так ли? В общем, таким образом я себя успокаиваю и тебе советую... Но, может быть, трех экземпляров нашей личности им вполне достаточно, и впредь им нечего себя утруждать, поскольку ничего нового не предвидится, а? Повторяю, в тиражировании тут никто не заинтересован, а мы с тобой хоть и одно, а все же разное! И скоро начнем это замечать!

— Ну ладно, значит, тут имеются одни только... творцы?

— Вовсе нет! След творения просто самый легкий след, есть вещь, в которой он запечатлен, но это след не единственный. Тому примером ты сам, восстановленный не по книге.

— Действительно...

— Ты восстановлен... прислушайся только, ты восстановлен по страданию... Был момент, когда ты осознал: «Я умираю!» И было в тебе много такого, что не хотело умирать, что смогло бы еще жить, потому что оставалось здоровым, и это все закричало: «Я умираю!» Такие крики не забываются.

Мы замолчали. Стало ли прохладно от наступающего вечера, или дрожь прошедшая по мне и заставившая меня передернуть плечами, была нервной?

— Послушай, — снова начал я после долгой паузы, — но тогда, тогда вообще всякий может быть восстановлен!

— Увы, опять-таки нет... Осознать: «Я умираю!» — успевают не каждый. Далеко не каждый... Но главное даже не в этом. Многие умирали без страдания, и начиная с нашего века таких

становилось все больше, пока наконец страдание не исчезло почти совсем, представляешь? Люди жили себе в свое удовольствие, ни о чем таком не думали, доживали до девяноста, до ста, потом я до двухсот лет, звезд с неба не хватало, и тут приходила пора умирать, и, спокойные, умиротворенные, лежали они на своем одре, понимая, что все у них позади, и не испытывая никаких страданий... Вот от таких не осталось никаких следов... По крайней мере, различимых на сегодняшнем уровне, так сказал Наш Первый. Вот и получается, что вплоть до XX века контингент человечества восстановлен почти полностью — ну кто до нас умирал без страданий? А начиная примерно с нашего времени, остались одни творцы. Правда, чем дальше, тем их становилось больше, пока наконец каждый не стал творцом, но огромное белое пятно присутствует...

— А ведь мы это всё понимали, — сказал я, — печенкой, что ли, но понимали... Да что мы — люди всегда это понимали... Человек всегда уважал страдание и всегда уважал творца, хоть далеко не всегда понимал, зачем он это делает...

— А помнишь бесчисленные споры всяких искусствоведов наших дней: где талант, а где ремесло и где вообще критерий, как их отличать? Критерий-то, вот он, оказывается...

— Но разве мы часто ошибались? — спросил я. — Скажи, ты уже должен это знать!

— Представь себе, ни одно произведение, хоть на несколько лет пережившее автора, не оказалось забракованным. О, многие из них тебе не понравятся, я знаю, но в таланте автору там не откажешь, нет, не откажешь... И, наконец, еще один источник восстановления — сильные порывы. Ведь не только же: «Я умираю!» — звучит у человека во весь голос? А «Я люблю», «Я могу», «Я знаю».

— Наш Первый! — воскликнул я. — Я знаю теперь, откуда он!

— Правильно, знаешь, — подтвердил Олег, — теперь ты знаешь все, что тебе стоило знать на сегодня, и я тебя, пожалуй, оставляю...

— Да, мне надо подумать, — откликнулся я.

— Твоя квартира на десятом этаже, на двери написано: «Олег», ты увидишь, — сказал Олег, вставая, — до завтра!

— До завтра! — пожал я его... — свою? — руку. Олег зашагал от меня и в наступившей темноте исчез быстро. Как только я перестал его видеть, мне вдруг стало грустно, но ненадолго. Завтра я увижу его опять, завтра я начну учиться летать, кроить свое лицо и вообще писать палочки... Вернее, даже не писать палочки, а учиться лепить куличики из песка... Завтра я начну ходить в детский садик, в ясельки начну ходить... Я вел себя пайнкой, и меня взяли в ясельки... У меня была саркома или то, что Олег советует считать саркомой, и, умирая, я успел крикнуть: «Помогите!» И мне помогли за то, что я, такой умница, успел крикнуть. Если бы я разбился в автомобиле или, поскользнувшись в гололед, ударился бы затылком, мне бы не помогли.

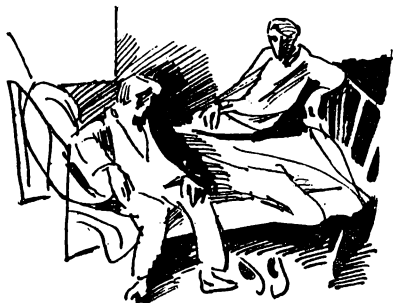
Я откинулся на спину и стукнулся легонышко своим затылком о сложенные ладони. Я стал смотреть в небо. Небо уже потемнело, появились звезды. Будем смотреть на звезды, раз мне позволили снова смотреть на звезды. Всем хорошим детям можно

смотреть на звезды. Всем, кто вовремя... Ах, черт, но ведь звезды-то... не те!..

Я вскочил на ноги и задрал голову, потом до меня дошло, что лежа-то смотреть куда удобнее, а ноги все равно уже подкосились от изумления, и вот я уже снова лежал и смотрел на не те звезды... Конечно, миллион лет, конечно, я профан в астрономии, в картине звездного неба, но ведь не на столько же я профан, чтобы не понимать — за миллион лет так небо не могло измениться. И еще, скажите на милость, а где это, спрашивается, Млечный Путь? Его нет!

Выходит, Земля теперь не там? А лучше сказать, я не на Земле?!

Не на Земле? Да! Ну и что же? А ты думал, для всех людей, воскрешенных, и заново рождающихся, и не умирающих, хватит одной нашей маленькой Земли? Где бы они на ней поместились? И потом, разве это для тебя такая уж неожиданность? И разве крылья менее удивительно? Хотя нет, крыльев мы ждали, и крылья мы уже имели... Не такие, но имели... Этого мы тоже ждали, но ведь не так... И потом, крылья... Крылья ведь — вот они... Крылья — это ведь и вправду очень просто... Да и не нужно никаких крыльев! К черту крылья! Ах, какой умный ребенок, он уже летает без крыльев!.. Тьфу, перестань! Чего ты разнылся? Что тебя, дурака, расстроило? Что взяли тебя за твой писк: «Умираю», а не за гордый возглас, как Олега и того, Первого?.. Зависть тебя расстроила? Конечно, она! Разве одним из первых чувств, когда ты только что оторвался от Земли, не был гадкий всплеск: «Ага! А у Олега-то еще крылья!»? Прочь, прочь все это, да этого всего уж и не осталось! Какая может быть зависть к Олегу, к себе самому, да и не только к Олегу! Разве все остальные не я? Разве все они не я, оставивший в них свой след, и впитавший его в себя, и живущий теперь всеми своими жизнями? И вся эта вселенная, моя вселенная, которую я заполнил собою и одним ритмом с которой теперь пульсирую, ведь я и она одно... И когда она кончится, когда я кончусь, потому что когда-нибудь все кончается, я все равно оставлю свой след, который не пропадет никогда, и это будет не писк! Не надо пищать! Потому что еще не раз наступит то, что много раз уже бывало, — почувствуется и скажется: «Я люблю! Я могу! Я знаю! Я ЖИВУ!»



ГЮНТЕР ШПРАНГЕР

РОМАН

РИС. В. ЛУКЬЯНЦА



На

прекрасном
голубом
Дунае

Девушка, сидевшая в старой лодке, зябко поежилась. — Ты замерзаешь, Карин? — спросил юноша и перестал грести. — Возьми-ка мою куртку. Карин Фридеман покачала головой. — Уже поздно, Петер, — сказала она. — Надо спешить домой. Сегодня вечером у нас гости. Я могу понадобиться.

Она закрыла глаза. Петер Ланцендорф короткими гребками вел лодку под свисающими над водой ветвями. Девушка, все еще не открывая глаз, продолжала сидеть неподвижно. В полумраке густых ветвей ее светлые волосы искрились, точно позолоченный шлем, а юный овал лица казался темным. Юноша склонился над ней, она обняла его и поцеловала.

— Приду завтра, — прошептал Петер. — Буду ждать в шесть на берегу, у мостка.

— Будь осторожен. Не увидел бы тебя мой дядя. Если пронюхает...

— Однажды он все равно узнает, — мрачно заметил Петер, вновь берясь за весла. — Не могу же я вечно от него прятаться.

— Конечно, нет, — согласилась она. — Но как раз сейчас, когда я собираюсь начать учебу...

— ...я не должен попадаться на глаза дяде и мешать тебе становиться библиотечарем, — закончил он с раздражением.

— Это профессия, которую я выбрала, — сказала она спокойно. — Я ведь ничего не имею против того, что ты работаешь в Институте экономической конъюнктуры.

— Не ты, а я против!

— Нет смысла роптать на судьбу, — попыталась она его успокоить. — Что поделаешь, если ты был вынужден прервать учебу. Если бы твой отец не умер, ты продолжал бы учиться. Будущее зависит не только от тебя самого.

До сих пор он не мог прийти в себя от сознания, что оказался выбитым из колеи. После четырех семестров изучения трудового права и социальной психологии он был вынужден бросить занятия и неимоверно обрадовался, когда с помощью одноклассника Роберта Хохштеттера устроился в Институт экономической конъюнктуры. Здесь его обязанности состояли в просмотре английских и американских специальных журналов.

— Поэтому-то я и рассчитываю на моего дядю, — сказала она, — ты ведь знаешь.

Они приблизились к узкой косе, на которой находилась лодочная станция. Подплыв к промасленным брусам, которыми был укреплен берег, Петер вышел из лодки и удерживал ее, пока Карин пересаживалась на другую скамейку. Перейдя на другой берег косы, он наблюдал, как она гребла к причальным мосткам возле виллы своего дяди. Потом он видел, как она привязала лодку и по тропинке меж редких деревьев побежала наверх.

— Большие мужчины не замечают маленьких девушек, так, кажется, гласит женская мудрость.

Он вскинул взгляд. Перед ним стояла соседка Карин Фридеман, черноглазая Эвелин Дзура. Темные волосы она носила с высоким начесом, а рот красила в форме сердечка. По мнению Ланцендорфа, она уж очень следовала моде, хотя и не лишена была хорошего вкуса. Владелец магазина мужского платья, в

котором она работала продавщицей, отлично знал, кому он был обязан ростом доходов за последний год.

— Извините, Эвелин, — сказал Петер. — Я немного задумался.

— Это заметно, — засмеялась она. — Ты сегодня не участвуешь в вечеринке?

— Я не принадлежу к тому кругу, — произнес он мрачно и вспомнил, с какой антипатией посмотрел на него дядя Карин во время случайной встречи.

— Почтенный господин Фридеман, — произнесла Эвелин с сарказмом. — Да, да, мне он знаком.

— Из-за этого ты и поссорилась с Карин?

— От меня ты ничего не узнаешь, мой юный рыцарь. Пусть об этом тебе расскажет Карин.

— Она об этом говорить не желает.

— Оно так и лучше, — высокомерно сказала Эвелин. — Мне надо спешить домой. Сервус*. — Засунув руки в просторные карманы своего клетчатого пальто, она удалилась, покачивая бедрами.

* * *

— Открой, Анна, — распорядилась экономка. — А потом займись на кухне помидорами. Их надо приготовить, но сначала хорошо помыть.

Девушка вышла. Прежде чем она достигла входной двери, звонок повторился. Лиза Хеттерле нахмурилась. Таким нетерпеливым мог быть только хозяин дома, Вальтер Фридеман. «Сегодня я должна ему сказать, — подумала она. — Это мой последний шанс, и я его не упущу».

В просторной гостиной раздались шаги: Вальтер Фридеман вошел в столовую.

— Как долго прикажете ждать? — резко спросил он. — Где Дора?

— Я не знаю, — робко ответила Хеттерле.

В его присутствии ее всегда охватывал страх. На других он, очевидно, производил впечатление обычного человека, она же видела его грубую, точно окостеневшую фигуру, волевое худое лицо с тонкогубым жестким ртом и холодно смотрящими глазами, костлявые руки с плоскими пальцами. Самыми страшными ей казались эти руки, покрытые с тыльной стороны черными завитками волос. Иногда он шевелил пальцами («Точно когти», — думала она), а затем сжимал их в кулак. Совершенно произвольное, но характерное движение...

Она хорошо запомнила, как познакомилась с ним. Спустя года три после войны она вынуждена была из-за одной глупой истории бежать из Мюнхена в Вену. Две ночи она пряталась на железнодорожном вокзале Франца-Иосифа. На третью, когда она пыталась подцепить на Альсербахштрассе французского солдата, их остановил военный патруль. Она убежала, и ей повезло, когда на Марктгассе перед ней неожиданно распахнулась дверь и кто-то пропустил ее в коридор. Так началось ее знакомство с Вальтером Фридеманом.

* Сервус — приветствие, распространенное среди австрийской молодежи. (Примеч. ред.)

— Я хочу поговорить с тобой, Вальтер, — сказала она решительно. Когда они были вдвоем, она обращалась к нему на «ты».

Фридеман схватил ее за плечи.

— Если я узнаю, что вы заодно с Дорой, ты у меня получишь свое!

— Какое мне дело до Доры? Я не знаю, чем она занимается, и не хочу знать. Я понимаю, почему ты ревнуешь.

— Ревную? — Он покачал головой. — Просто я не хочу быть мишенью для сплетен. Если я доберусь до этого вонючего козла, к которому она бегаёт, то его час пробьет. Как и ее тоже. Кто знает, что она может разболтать.

«Вон оно что! — подумала она. — Вальтер боится! Как это интересно. Нечасто можно видеть его без маски».

— Я хочу поговорить с тобой, — повторила она. — Если я теперь не решусь, то вообще никогда не осмелюсь.

— О чем? — резко спросил он.

— Я хотела бы отказаться от места.

— Почему?

Мгновение она подумала, говорить ли ему правду. Но почему она должна лгать?

— Хочу замуж.

На его лице отразилось удивление.

— Послушай, — заговорила она горячо. — Я пробыла у тебя семнадцать лет. Я должна подумать о своей старости.

— Я знавал и других потаскух, которые договаривались с будущим «супругом» в публичном доме. А ты где откопала своего?

Лицо ее исказилось. Она подняла руку, сжатую в кулак.

— Я не потерплю более, чтобы ты...

Спокойно отведя удар, он грубо схватил ее за руку.

— Так что же я?

— Он любит меня, — сказала она уже сдержанно. — Мне будет хорошо у него.

Злорадно улыбаясь, он опустил ее руку и слегка коснулся пальцами рубца, который шел от лба через переносицу и, минуя левый глаз, доходил до подбородка. Она отпрянула, как от прикосновения раскаленным железом.

— Несмотря на этот маленький изъян? — спросил он.

— Несмотря, — сказала она твердо.

Она подумала о маленьком толстом человеке с его щетинистым венчиком волос вокруг гладкой лысины и его комической походкой вразвалку. Четыре недели назад они впервые встретились в одном локале*, после того как он прислал ответ на ее объявление в газете о желании выйти замуж. Из письма Хеттерле знала, что пять месяцев назад у него умерла жена и теперь он торгует один в своей бакалейной лавке в Вольсберге. Через восемь дней они вновь встретились в Вене, а неделю спустя она была у него в Вольсберге. Там они и договорились пожениться.

Фридеман подошел к буфету, налил коньяка и одним глотком выпил.

— И ты думаешь, я соглашусь с этим?

— Почему нет? — ответила она вопросом.

— Ты слишком много знаешь, мое сокровище. Лучше, если я буду иметь тебя под рукой.

* Локаль — маленький ресторан, кафе, кабачок. (Примеч. ред.)

— Я не прошу тебя о разрешении, — сказала она, хотя и знала, что как раз об этом и шла речь. — Я не твоя рабыня. Мы живем в свободном государстве.

— Оно конечно, — подтвердил он. — Мы живем в свободном государстве. Однако в твоих же интересах, если факты давно минувших дней не всплывут вновь.

— Значит, ты намерен меня шантажировать? — спросила она с дрожью в голосе.

В прихожей зазвонил телефон. Горничная сняла трубку, но, о чем шла речь, они не смогли понять.

— Какое некрасивое слово, — сказал Фридеман. — Я только хотел подчеркнуть, что в твоих интересах оставаться здесь.

Горничная вошла в комнату и сказала:

— Звонила госпожа. Просила передать, что она придет несколько позже и чтобы фрейлейн Хетгерле не забыла о рогаликах.

— Вон! — рявкнул Фридеман, и горничная выбежала из комнаты. Он вновь налил коньяка и тут же выпил.

— Вернемся к нашему разговору позже, — сказал он. — Лишиться тебя я не могу и по другим причинам. Когда чувствую себя одиноким, я высоко ценю твои чувства.

Бесполезный разговор, она это предчувствовала. Так будет продолжаться и дальше, пока она не износится и не состарится. Придется написать в Вольсберг, что с женитьбой ничего не получается. Возможно, он будет ее уговаривать, а может, и нет. Для своей лавки он, конечно, найдет и другую.

Хетгерле с ненавистью посмотрела на Вальтера и вышла из комнаты. Фридеман захохотал ей вслед и направился в прихожую. С улицы как раз входила Карин.

— Принцесса соизволила явиться? — встретил он ее.

— Раньше я была Лизе не нужна, — ответила Карин.

Она всегда старалась, чтобы между нею и ее дядей не возникало осложнений. Его отношение к ней было крайне неровным. Бывали моменты, когда она считала, что он настроен хорошо, временами казалось, что он ее просто не выносит. В последние недели его антипатия явно усилилась, и все старания найти с ним общий язык были напрасны.

— Ты, кажется, берешь пример с тети, — сказал Фридеман.

— Как это понимать?

Не ответив, он отвернулся и пошел на второй этаж.

* * *

— Шторы можно поднять, — сказала женщина и выключила настольную лампу.

Положив трубку, мужчина подтянул шнур. На затемненной половине веранды появились письменный стол, этажерка с папками и бумажными свертками, небольшой шкаф и рабочий стол, на котором стоял фотоувеличитель. Чертежи и наброски афиш на стенах, рисунки на столах свидетельствовали о том, что веранда принадлежала художнику.

Не обращая внимания на женщину, мужчина сел за письменный стол, подперев руками свою крупную голову.

— Если тебе нечего делать, — невозмутимо произнесла женщина, — то будь добр, застегни мне «молнию».

Мужчина неохотно поднялся, подошел и застегнул ей платье.

— Страстным любовником тебя не назовешь, — сказала она с издевкой. — Наверное, я тебе надоела.

— Я тебя не принуждал стать моей любовницей.

— Ты прав, этого не было. Я сама была дурочкой. До сих пор не пойму, как я оказалась у тебя.

— Любовь — как ты раньше утверждала.

— Не будь глупцом, — сказала она с раздражением, проводя карандашом по дугам бровей. — Тебе все точно известно. Естественно, я хотела отомстить мужу.

— Не лучше ли подсыпать Хеттерле в кофе цианистый калий?

— Почему Хеттерле? — Она удивленно посмотрела на него. — Ах да, потому что он иногда заползает к ней в постель. С ней прощаю. С другими нет.

Фазольд подошел к ней.

— Почему ты его не бросишь, Дора?

— Не знаю. Возможно, из-за удобства. Ведь я все имею. Прикажешь начинать сначала? Но главное, это желание получить реванш. Ты бы мог тоже уйти. Почему ты этого не делаешь?

— Не надо смеяться, Дора. Ты ведь точно знаешь, что я этого не могу сделать. Тогда я буду так же стремиться к реваншу, как и ты.

— Имеешь в виду свою месть, — сказала она, улыбаясь. — Твоя месть — это я.

Фазольд пожал плечами.

— Это твоё толкование, Дора. Но мщение не может длиться бесконечно. Однажды ему приходит конец.

Она засмеялась.

— Другими словами, ты трусишь. Сознавайся, Вернер Фазольд, что ты боишься.

Художник возбужденно наклонился к ней.

— Я ничего не боюсь. Кого я должен бояться? Не твоего ли мужа? Если я о нем выложу...

— Отойди с этой отвратительно воняющей трубкой! Так-таки не боишься? Прекрасно. Тогда я сейчас позвоню Фридеману и скажу ему, что я у тебя.

Невольно он бросил взгляд в окно на противоположный берег Старого Дуная, где за деревьями скрывалась вилла Фридемана. Затем он перевел взгляд на Дору, схватившую телефонную трубку. Он быстро нажал на рычаг.

— Ты с ума сошла!

— Все-таки боишься, — сказала она с издевкой.

Он отпустил рычаг.

— Поступай как знаешь, — сказал он зло.

Набирая номер телефона своей виллы, она наблюдала за Фазольдом с язвительной улыбкой.

Нервно покусывая губы, он хотел снова нажать на рычаг, но насмешка, таившаяся в ее глазах, остановила его.

— Это ты, Анна? — говорила Дора в трубку. — Мой супруг дома? Скажите фрейлейн Хеттерле, я приду несколько позже. Пусть не забудет приготовить рогалики.

Кладя трубку, она отметила, что Фазольд облегченно вздохнул.

— Ты действительно поверил, что я могу сказать Вальтеру, где

нахожусь? — спросила она. — Я еще не спатила. Если бы ты видел, каким он может быть...

— Могу представить.

— Тогда ты также можешь представить, что может случиться.

Фазольд поскреб свой огромный череп мундштуком потухшей трубки.

— Не понимаю, почему он так ревнует.

— С ревностью это не имеет ничего общего. Он просто не позволяет отнимать у него то, что принадлежит ему. Он считает, что я его вещь. Если бы он догадался, что мы...

Фазольд повертел трубкой.

— Давай покончим, Дора. Так будет лучше для нас обоих.

Она засмеялась.

— И не подумаю.

— Тогда покончу я.

Дора Фридеман поднялась с кушетки и подошла к Фазольду. Глаза ее сверкали.

— Ты этого, любимый, не сделаешь.

— Сделаю.

Женщина улыбнулась недоброй улыбкой.

— Что знает Вальтер Фридеман, знаю также и я, — сказала она. — Не забывай этого.

— Что это значит?

— То, что ты у меня в руках.

Фазольд отпрянул.

— И ты бы меня погубила, меня?..

— Почему бы нет?

— А муж? Ты ударила бы и по мужу. Ты же этого не желаешь?

— Он меня не интересуется.

Звонок телефона прервал ее. Фазольд уставился на аппарат, потом нерешительно снял трубку.

— Фазольд, — представился он. — Кто говорит? Ах, это вы, Деттмар. Я не знал, что вы в Вене.

Дора заметила, как смягчились черты его лица, голос обрел уверенный тон.

— Когда? Через полчаса? Пожалуйста, но я, право, не знаю... Ну хорошо... Привет. — Он положил трубку и задумчиво посмотрел на Дору.

— Чего он хочет? — спросила она.

— Хочет еще до вашей вечеринки поговорить со мной. Он нуждается в моем совете.

— В твоем совете? — Дора рассмеялась с издевкой. — Что ты можешь ему насоветовать!

— Ты, кажется, собиралась домой? — спросил он.

— Ты прогоняешь меня, Вернер Фазольд? — спросила Дора. — Надеюсь, в следующий раз ты будешь обращаться со мной более любезно. Не забудь, что я тебя люблю.

* * *

Из серого «фольксвагена», припаркованного на Менгерштрассе, вышел мужчина средних лет. Убедившись, что никого из знакомых поблизости не было, он пересек улицу и завернул на

Бертлгассе. Через десяток шагов он оказался перед домом с вывеской: «Черкесский бар». Но бар был закрыт. У входа висело объявление: «Открытие после капитального ремонта 10 октября. «Фламенго» в сенсационном исполнении». Итак, через две недели старуха намерена вновь открыть бар.

Через главный вход он вошел в коридор, который вел в помещение, являвшее собой причудливое смешение всевозможных стилей. Оно соединяло в себе великолепие портьер салона прошлого века, бахрому абажуров, бывших в моде в двадцатых годах светильников и монументальность мебели довоенных посольств. За огромным письменным столом здесь одиноко восседала Ковалова. Перед ней лежала стопка каких-то счетов, которые она сличала с записями в журнале.

— Садитесь, — сказала она с сильным акцентом, выдававшим ее славянское происхождение, и тоном, не говорившим об особой симпатии к посетителю. — Садитесь.

— Я не знал, что ваш бар закрыт, фрау Ковалова, — начал он разговор.

— Водочки могу предложить и не сходя с места, — сказала она и достала из письменного стола бутылку с двумя рюмками.

Деттмар выпил, и Ковалова тотчас же наполнила ему рюмку.

— Собственно, зачем вы приехали в Вену? — спросила она напрямик.

— Я здесь по служебным делам, — осторожно ответил Деттмар.

Ковалова отпила половину рюмки

— То, что вы прибыли не на концерт капеллы венских мальчиков, я смогла смекнуть и сама, — сказала она с иронией.

Деттмар повел рассказ о своем предприятии — одной строительной фирме в Ганновере, компаньоном которой он стал благодаря выгодному браку. Он пожаловался, что при жизни тестя не мог развернуться как следует. Но вот после смерти старика, три года назад, ему наконец-то удалось уловить ритм времени. Он основал общество под названием «Собственный дом», которое, по его словам, процветало.

— Хотя, конечно, без кредитов далеко не уедешь, — добавил он с опаской.

— Другими словами: вы ищете здесь кредиты, — подытожила Ковалова. — Вы шутник! Разве не читали объявление у входа в бар? Мне самой впору доставать кредиты.

Деттмар притворно улыбнулся. Получив отказ, он не обиделся.

— Собственно, я не очень рассчитывал, что вы вступите в дело, — сказал он. — Я хотел лишь посоветоваться с вами.

Ковалова заинтересовалась.

— Как вы считаете, стоит ли обращаться за кредитами к Фридеману?

— Мне он в этом способствовал, — с ударением произнесла Ковалова. — Но я имела нужные гарантии.

— Таковые имею и я, — заверил Деттмар.

— Тогда, очевидно, вы получите кредиты, — сказала Ковалова и засмеялась. — Но ведь под эти гарантии он вас уже кредитовал, — добавила она злорадно.

— Вы знаете?.. Однажды он мне помог...

— Какой же суммой?

— Пятьсот тысяч.

— В шиллингах?

— А вы думаете, в долларах? — грубо спросил он.

Ковалова закрыла глаза. Она заметила, как занервничал ее посетитель. Что-то с ним стряслось неладное. Жирное лицо Деттмара вспыхнуло.

— Вы могли бы замолвить за меня словечко?

— Обратитесь к нему сами. У него сегодня будут гости. Походите туда и поговорите.

Деттмар поднялся с кресла.

— В случае отказа мне остается только объявить о своем банкротстве, — сказал он глухо и повернулся к двери.

— Желаю хорошо повеселиться.

Последнее напутствие Деттмар не слышал. Переполненный чувством гневного разочарования, он шел ощупью по узкому коридору. Уже стемнело. На Менгерштрассе он на мгновение остановился в нерешительности у своей машины, затем тихо выругался и зашагал на улицу Леопольда, где на углу находился ресторан. Он вошел в зал и заказал какой-то пустяк. Но когда ему принесли еду, он вдруг почувствовал, что аппетит пропал.

«Неужели мне конец? — подумал он в отчаянии. — Новый кредит Фридемана мог бы спасти меня. Ковалова не захотела замолвить слово, так, может быть, Фазольд? Год назад я ему заказал рекламные проспекты для нашего общества, а с Фридеманом он дружен». — Он кивнул официантке.

— Телефон рядом с туалетом, — любезно ответила она.

Окрыленный новой надеждой, Деттмар отправился звонить Фазольду.

* * *

Все более распаляясь, они горланили во всю глотку. Звуки цитры едва были слышны, можно было только видеть, как музыкант с застывшей улыбкой теребил струны. За сотню чаевых шиллингов он мог сыграть все, что угодно, хотя лично ему подобный репертуар радости не доставлял. Они вели себя не только развязно, но прямо-таки нагло, эти туристы из Западной Германии.

На скамье, рядом с дверью, сидел пожилой мужчина, широкоплечий и тучный, с мешками под глазами. Он пытался сдержаться, но в конце концов, обращаясь к тщедушной, бледной жене, сказал:

— Нравится тебе, как они себя ведут?

Она пожала плечами.

— Что же поделаешь? Позвать полицию?

— Для вмешательства нет оснований, — сказал Макс Шельбаум, обер-комиссар Венской полицейской дирекции. — Они делают то, что обычно делают в винных погребках. Они никого не оскорбляют и не нарушают порядка.

— Но они провоцируют.

— Это надо еще доказать, — сказал обер-комиссар. — Самое лучшее, если мы сейчас уйдем.

Он расплатился. Путь до остановки городской железной дороги Шельбаум прошел молча.

— Ты опять, Макс, думаешь об этом. Почему ты мучаешь себя? Время прошло. Ты должен забыть.

— Как можно это забыть, Софи? — спросил он с упреком. — Они все еще здесь. Однажды они начнут все сначала.

Она пожала его руку и ничего не ответила. Ничто не могло освободить его от воспоминаний прошлого. Его отец имел торговый дом на Валленштайнштрассе, но сын не захотел продолжать его дело. В Инсбруке он изучал юриспруденцию, в Лаузанне — криминалистику. Перед ним открылась блестящая карьера, когда он был назначен в статистический отдел Международной криминальной комиссии. Но однажды все рухнуло. Когда гитлеровский рейх оккупировал Австрию, Макс Шельбаум должен был уйти из комиссии.

Один ревизор по отчетности принял его на работу в свое бюро, где он служил, пока за год до окончания войны его не отправили в исправительно-трудовой лагерь. Там его использовали сначала на дорожных работах, а позднее на расчистке городских завалов после воздушных налетов на Вену. Концлагерь миновал его...

Они стояли на остановке и ждали поезда.

— Ты вновь сможешь начать после войны, — сказала жена. — Другие этого не смогли.

Софи права. Другие не смогли, потому что были мертвы. Конечно, ему повезло. И прежде всего в том, что его первая жена с началом войны ушла от него. На нее он не в обиде. Испытание для нее оказалось просто не по силам. Он сам был удивлен, как мало для него это значило. Миновала нацистская чума, и его вновь восстановили в полиции, но уже не там, где командовал действительный надворный советник. Международная криминальная комиссия была вновь создана в Париже год спустя после войны, а советник с приходом Красной Армии пустил себе пулю в лоб. Шельбаум должен был начать все сначала в полицейском комиссариате второго округа. Из-за этого округа он позднее попал под подозрение, поскольку этот район относился к советской зоне оккупации. Лишь спустя десять лет его перевели в полицейскую дирекцию, но дальше должности обер-комиссара не пускали. Да и эту должность он занял лишь два года назад.

Подождал поезд. Шельбаум с женой вошли в последний вагон. Софи была вдовой слесаря, расстрелянного военщиной во время февральского восстания 1934 года*. Шельбаум никогда не сожалел о своей женитьбе. Все то, чего он так мало имел в своей жизни — поддержку и человеческое тепло, — он нашел в браке. Благодаря Софи он познакомился с людьми другого класса, с людьми, которые до этого были ему чужды. Он не стал коммунистом, как ее расстрелянный муж, но он интересовался идея-

* В феврале 1934 года рабочие Вены, Линца и ряда других городов выступили против фашистов, которые в это время начали открытый разгром левых организаций. После трех дней боев сопротивление рабочих было подавлено. Восставшие не были поддержаны всеобщей забастовкой и потерпели поражение.

ми и целями коммунизма, и если поблизости — в Бригитенау, в Флоридсдорфе или Леопольдштадте — проходили мероприятия коммунистической партии, то он шел туда. Шел не из простого любопытства, а с серьезным намерением узнать поближе этих людей.

— Мне они гадили, как только могли, — сказал он.

Жена это знала. Она знала, что является одной из причин, почему ее муж не продвигается по службе. Человек с высшим образованием женится на женщине из рабочей семьи. Кроме того, она была вдовой «красного». Если бы они знали, что на выборах он всегда отдавал свой голос коммунистам и левым социалистам, то были бы просто ошеломлены. Все это у некоторых лиц давно переполняло чашу терпения, например у обер-полицейсрата Видингера, бывшего членом «Союза Свободной Австрии» (ССА).

Поезд остановился на Шведенпляц. Они поднялись по лестнице к набережной и перешли Марненбрюкке. Дом, в котором они жили, был построен еще накануне первой мировой войны. Лифт в нем напоминал грубую железную клетку и действовал далеко не всегда.

— Здесь кто-то был, — сказал Шельбаум, когда они подошли к своей квартире на четвертом этаже. С легким кряхтением он наклонился и поднял конверт.

— Это подбросил Нидл, — сказал он, читая записку на обороте конверта. Он помог жене снять пальто, разделся сам и прошел в гостиную. Здесь он долго стоял рядом с книжной полкой и рассматривал на стене гравюру Дюрера «Рыцарь, смерть и дьявол», что он имел обыкновение делать, когда о чем-то размышлял.

— Что-нибудь особенное? — спросила жена озабоченно.

— Нет, Софи, — ответил он. — Я уже знал, что Видингер едет в Испанию на полицейскую выставку в Мадриде. Потом он посетит различные учреждения испанской полиции. Сопровождает его комиссар Зандер. Тем временем я должен буду замещать Видингера в отделе. Есть у нас что-нибудь выпить?

— Я заварила чай.

Шельбаум вышел из гостиной. Софи не была любопытной, но слова мужа заинтересовали ее. Раскрыв записку, она прочла: «...Наши испанские коллеги весьма чувствительны. Мы не хотели бы ставить их в неловкое положение. Поэтому проявите понимание и воздержитесь от участия в поездке. Согласно рангу и выслуге лет Вы будете замещать меня в отделе...»

«Вот оно что, — подумала фрау Шельбаум. — Как деликатен господин Видингер, даже его оскорбления заметишь не сразу».

* * *

Несмотря на холодный вечер, терраса виллы Фридемана была ярко освещена. Четыре шарообразные лампы на железных стойках обрамляли выложенный плитками прямоугольник, откуда широкая лестница вела в сад.

В саду у террасы стояла скамейка, на которой, скрываясь в темноте, сидела женщина. Едва наверху открылась дверь, она

подняла голову. Подошедшая к парапету Карин Фридеман узнала Ковалову.

— Подойдите ко мне, мое дитя, — сказала Ковалова, которая в обращении с юным поколением усвоила особый театральный тон. — Я спряталась здесь, чтобы поскучать. Поскучайте и вы со мной.

Карин хотелось побыть одной, но вежливость не позволила ей отказаться от приглашения. Она спустилась по лестнице и села рядом со старой женщиной.

— Вам, я вижу, не по душе эта суматоха? Есть ли там хотя бы пара славных молодых людей? — продолжала разговор Ковалова.

Скучные юноши и глупо хихикающие девицы, танцевавшие в зале, по мнению Карин, никак не заслуживали названия славных молодых людей. Однако, не испытывая к Коваловой особой симпатии, она ответила:

— Хотела бы я знать, чего им надо от моего дяди.

— Загадка легко разрешима, — сказала Ковалова. — Компания вашего дяди имеют ведь и другие обязанности. Вот они и посылают вместо себя своих детей, чтобы не обидеть хозяина.

— А почему вы здесь?

— Из-за старой привязанности к вашему дяде. Мы сравнительно давно знаем друг друга. Таким приемом он каждый год отмечает юбилей своего дела. Вы до сих пор не присутствовали на подобных сборищах?

— Я училась в Граце, — сказала Карин.

— Ну, многого вы не упустили. Дело обычно оканчивается скандалом. Ваш дядя может быть просто невыносимым. Сегодня он, например, вообразил, будто я плохо отозвалась о нем в беседе с Кнауером, старостой ССА в Хитцинге.

От ночного холода Карин начала дрожать, ей хотелось уйти, но она не знала, под каким предлогом отвязаться от Коваловой.

— Не понимаю, почему он так возится с людьми из этой организации, — сказала она, зябко пожимая плечами.

Щелкнув зажигалкой, Ковалова закурила.

— А почему бы и нет? — спросила она, с наслаждением выпуская дым.

— Он ведь был в концлагере, а члены ССА...

— Возможно, ваш дядя видел не так уж много плохого... А остальное стерлось из памяти. Теперь времена изменились, и дела важнее, чем воспоминания...

— Я нахожу это гнусным.

— Но, дитя, — сказала Ковалова вкрадчиво. — Я ведь говорю за вашего дядю, а не за себя.

На террасе распахнулась дверь, и кто-то крикнул:

— Карин, где ты?

— Моя тетка, — торопливо сказала Карин. — Я должна вернуться. Вы идете? Становится прохладно.

— Идите, идите, — ответила Ковалова. — И желаю хорошо повеселиться.

Дора Фридеман была в нервно-возбужденном состоянии. Когда она вернулась домой, между супругами разыгралась бурная сцена. Фридеман был совершенно уверен, что у жены есть лю-

бовник, и лишь боязнь того, что она не сможет выйти в этот вечер к гостям, удержала его от желания избить ее.

Карин последовала за теткой в комнату, примыкавшую к веранде. Вальтера Фридемана здесь не было. Карин обнаружила его, когда заглянула в зал. Музыка только что закончилась, и девица, с которой танцевал Фридеман, стояла у лестницы, ведущей на второй этаж. На госте было платье с глубоким вырезом. Фридеман, нагнувшись, дул ей в вырез, что, казалось, девицу забавляло больше, чем самого хозяина.

— Когда покончишь с этим, — холодно сказала проходившая Дора, — позаботься и о других гостях.

Девица улизнула. Вальтер Фридеман захохотал, потом его взгляд упал на Карин, и он смолк. Рыжеволосый, веснушчатый парень вставил новую кассету. Когда зазвучала музыка, он пригласил Карин на танец. Фридеман одобрительно посмотрел им вслед и исчез в соседней комнате.

Из кухни донесся шум. Карин извинилась и пошла посмотреть, что случилось. Анна разбила тарелку и теперь ревела, Дора в ярости орала на нее, Хеттерле склонилась над кухонным столом и молча наблюдала разыгравшуюся сцену. Хотя обычно она и ладила с Дорой, но на этот раз должна была взять себя в руки, чтобы не наброситься на хозяйку с кулаками. Именно Дора, по ее мнению, была виновата в том, что она вынуждена остаться у Вальтера Фридемана. Он обвинял ее, будто она вместе с Дорой ведет игру против него. В лучшем настроении он бы, наверное, разрешил ей выйти замуж за бакалейщика. Карин посмотрела на часы, висевшие над дверью.

— Когда же будет конец этому, Лиза? — спросила она.

Хеттерле пожала плечами.

— В двенадцать, в три, кто знает?

— Не понимаю, — сказала Карин.

— Такие торжества редко заканчиваются нормально, — добавила Хеттерле. — Сама увидишь.

В дверь просунулась голова Фазольда.

— Лиза, немного столовой соды... У меня опять изжога...

— Это потому, что ты слишком много заливаешь в себя, — зло ответила Хеттерле. Она достала пакетик из кухонного шкафа, насыпала немного порошка в стакан и наполнила его водой.

Фазольд поблагодарил и выпил мелкими глотками.

— Неплохо веселитесь? — спросил он Карин, робко улыбаясь.

— Спасибо, сойдет, — ответила она сдержанно. — А ты?

— Я удрал, — сказал Фазольд с той же робкой улыбкой. — Они там начали играть в азартные.

Фазольд чувствовал себя так, будто бы сидел на пороховой бочке. Когда он пришел вместе с Деттмаром, Фридеман очень удивился и, как всегда, высказался в довольно нелюбезной форме. К счастью, в этот момент гостей было еще мало, так что Фазольд смог отвести хозяина в сторону и сообщить ему, чего хочет Деттмар.

— Почему он мне сам об этом не скажет? — спросил Фридеман.

— Я обещал замолвить перед тобой словечко.

— Что? Именно ты? — Фридеман расхохотался. — Не смей меня!

— Ты не сердись на меня за то, что я его привел? — спросил боязливо Фазольд. — Я не мог отвязаться от него.

— Ну почему же? — Фридеман успокаивающе похлопал его по плечу.

— И ты поговоришь с ним?

Фридеман вновь расхохотался.

— Обязательно. Будь уверен. Но он должен немного подождать. Сначала должен закончиться этот обезьяний цирк.

В этот момент мимо них прошла Дора. Лицо Фридемана искала злая гримаса.

— Эта мерзкая баба изменяет мне! — прорычал он. — Ты не знаешь, с кем она путается?

Фазольд пожал плечами, внутренне содрогаясь. С большим трудом он владел собой. Нет, так дальше не пойдет. Между ним и Дорой все должно прекратиться. Она должна наконец понять, что, если Фридеман пронюхает об их связи, это приведет к катастрофе. Страх проникал до желудка — Хеттерле ошиблась, когда сказала, что он слишком много выпил.

— Во что там играют? — спросила Карин.

— Покер, баккара или двадцать одно, — ворчливо сказала Хеттерле.

...Но она ошиблась на этот раз. Уважаемые господа и дамы, собравшиеся в рабочем кабинете Фридемана, играли в силезскую лотерею. Банк держал Фридеман. Вообще-то силезская лотерея — верный выигрыш для банкмета. Если он раздаст все карты, то тридцать вторую долю своего сбора он в виде выигрыша должен выплатить, остальное принадлежит ему. Риск возникает, если карт расходится меньше.

В рабочем кабинете была дюжина игроков, которые сидели вокруг Фридемана. Первую карту Фридеман положил перед собой не открывая и объявил ставку:

— Тысяча шиллингов! — Остальные три карты он взял по общей ставке.

Тысяча шиллингов дали четвертной выигрыш. Чтобы оплатить его, Деттмар вынужден был поменять западногерманские марки у Фридемана. Эту операцию он должен был в дальнейшем повторить неоднократно. Лоб его покрылся капельками пота. Фридеман все время заставлял Анну разносить коньяк, и к полуночи все партнеры за исключением Коваловой, мирно беседовавшей в соседней комнате с Фазольдом, были чуть ли не вдрызг пьяны.

Сам Вальтер много выпил, но по нему это было незаметно. Войдя в кухню, он приказал Хеттерле сварить ему крепкий кофе. Затем он увидел Карин, и по его глазам она поняла, что алкоголь сделал свое дело. Когда дядя приблизился к ней, она отступила к окну.

— Прекрасная Карин, — пьяно пробормотал он. — Прекрасная Карин, не поцелуешь ли меня?..

Лицо его все более склонялось к ней. То были уже не родственные чувства: во взгляде дяди проглядывала нескрываемая похоть. Руки с черными завитушками волос, которые он протя-

нул, чтобы обнять Карин, вселили в нее такой ужас, что она испустила громкий крик.

Хеттерле, возившаяся с кофемолкой, подбежала и оттолкнула Фридемана. Воспользовавшись моментом, Карин прошмыгнула мимо него в дверь. Еще не оправившись от только что пережитого, она проскочила через зал между пьяными парочками и взбежала на второй этаж. Отсюда узкая лестница вела в мансарду, где она жила.

Карин вошла в свою комнатку и упала на кровать. Истерики всхлипывания душили ее. Она слышала, что дядя приставал к другим женщинам, но, что он посягнет на нее, об этом она никогда не думала. Следует ли ей теперь покинуть этот дом навсегда или она должна вести себя так, будто ничего не случилось? Спустя некоторое время она несколько успокоилась. Приняв две снотворные таблетки, она легла не раздеваясь. Шум гостей не долетал до мансарды, и она в изнеможении заснула.

Внизу после ее бегства все быстро пришло к концу. Первое, что сделал Фридеман, так это дал Хеттерле зуботычину. В раздражении против всех и вся он ворвался в зал и рявкнул:

— Вон, банда! Банда, вон! Вечеринка закончена.

Он грубо хватал своих гостей, пока они не поняли, что будет лучше убраться подобру-поздорову. Подобный конец вечеринки никто трагично не воспринимал. По прежним временам знали, что здесь мирно расставались редко.

Настроение у гостей оставалось веселым, и только хозяин продолжал бушевать. Дора, знавшая, каким он может быть дикарем, незаметно ушла в свою комнату, расположенную в пристройке на первом этаже. В суматохе убежала к себе и Хеттерле, а Анну, продолжавшую еще мыть посуду, Фридеман просто выставил за дверь.

Когда Фридеман, вооруженный бутылкой коньяка, вернулся в рабочий кабинет, он, к своему немалому удивлению, застал там Деттмара, который, как он считал, давно ушел.

— Что тебе, собственно, надо? — проворчал он.

— Фазольд сказал мне, что ты хочешь поговорить со мной, — ответил Деттмар.

— Что такое? — Фридеман угрожающе поднял коньячную бутылку. — Я хочу поговорить с тобой? Не наоборот ли?

— Ну хорошо, — согласился Деттмар. — Выразимся иначе: я хотел поговорить с тобой.

— «Выразимся иначе», — передразнил его Фридеман. — Ты опять накануне банкротства?

— Но, позволь, у тебя нет оснований так обращаться со мной. Я тебя абсолютно вежливо...

— Баста! — прервал Фридеман. — О новом кредите не может быть и речи.

— Я проиграл здесь полторы тысячи марок... — произнес Деттмар срывающимся голосом.

— А не больше? — спросил Фридеман с издевкой.

— Ты обязан мне помочь, Вальтер...

— Вон! — заорал Фридеман. — Вон, иначе тебе несдобровать. И вспомни, когда наступает срок взноса по твоему последнему кредиту. Времени у тебя месяц...

— Послушай, Вальтер, — умоляюще сказал Деттмар. — Сегодня ты не в настроении. Продолжим разговор завтра...

— Я сказал, уходи!

Он гнал его по анфиладе комнат, пока они не сказались в холле. Здесь Фридеман сдернул с вешалки пальто и шляпу, бросил их бормочущему что-то Деттмару и распахнул перед ним дверь.

— Вальтер, не покидай меня в беде, — заклинал Деттмар. — Это ведь и в твоих интересах...

Но Фридеман уже захлопнул за ним дверь.

* * *

В начале второго Эвелин была разбужена шумом машин, отъезжавших от виллы Фридемана. Гости бесцеремонно прогревали моторы, прощаясь, сигналили друг другу. Когда машины проходили поворот вокруг дома, лучи их фар били через окно и отражались от противоположной стены. Сама не желая этого, Эвелин прислушивалась и раздражалась: ведь завтра ей надо было рано вставать. А еще больше ее злило то, что Эдгар Маффи, спавший рядом, никакого шума не замечал. Долговязый парень, с таким упорством последние две недели посещавший почти каждый день галантерейный магазин на Таборштрассе, покупавший то галстук, то носовой платок, казалось, считал само собой разумеющимся, что он эту ночь может провести у нее. Конечно, святой она не была, но и достоинства своего перед каждым не теряла. Никогда еще она не приводила мужчину к себе в гости; на этот раз она уступила настояниям Эдгара потому, что мать ее — отца не было в живых — на четыре недели уехала в Зальцбург к брату Эвелин. Эдгар Маффи с беспечностью молодого мужчины использовал благоприятную возможность.

Едва машины уехали, Эвелин встала и приоткрыла окно. Было холодно, и она зябко куталась в наспех наброшенный халат. В свете луны, проникавшем через боковое окно, она заметила, что Маффи сбросил с себя одеяло. Она заботливо накрыла его и легла. Позднее она не могла вспомнить, заснула ли она вновь и сколько прошло времени. Она вскочила, когда услышала страшный вопль. То, что это был вопль, она поняла не сразу, но потом ей стало ясно, что это был крик женщины, оказавшейся в крайней опасности.

С бьющимся сердцем Эвелин села на кровати. Молодой человек продолжал спокойно спать.

— Эдгар! — зашептала она, как будто ее могли подслушать. — Проснись же наконец! — Она трясла его, пока он не открыл глаза.

— Черт возьми! Ты же мешаешь мне спать!

— Кто-то кричал, — сказала она, вновь переходя на шепот.

— Но, Эвхен, — сказал Маффи, окончательно просыпаясь. — Сколько людей кричит — от ярости, от горя, в веселье. Пусть себе кричат.

— Не так, — сказала она возбужденно. — Это кричала женщина, которая боролась за свою жизнь. Я хочу, чтобы ты встал и посмотрел. Можно же это потребовать от мужчины, тем более если он служит в уголовной полиции.

— У меня для этого нет ни малейшей охоты, — сказал он, задетый за живое. — Но посмотрю, чтобы ты успокоилась.

Он набросил пальто и вышел. Ярko светила луна, плывшая высоко в небе. В саду вокруг домика он не заметил ничего подозрительного. Кругом никого не было. Маффи подошел к краю участка, заглянул через забор. Под деревьями виллы Фридемана было тихо и темно. Бросив взгляд в другую сторону, он также ничего не обнаружил. «Очевидно, ей что-то померещилось», — подумал он, возвращаясь назад.

— Что это было? — спросила Эвелин.

— Ничего, — ответил он. — Тебе просто приснился дурной сон.

Он присел на постель. Она немного отодвинулась к стене.

— Иди скорее ко мне. Мне страшно, — сказала она тихо.

* * *

— А ну-ка пойдем, Пусси, вот тепленькое молочко.

Кошка, мурлыча, выгнула спину и побежала за Хеттерле, поставившей чашку с молоком на пол крошечной комнатухи. Хеттерле дождалась, пока кошка энергично вылизала чашку, и начала приводить себя в порядок.

Тогда хозяйка подошла к трюмо, чтобы причесать волосы. Левая половина ее лица припухла, подбородок болел, но гнев после вчерашнего оскорбления прошел. Она смирилась со своим положением, освободиться от Вальтера Фридемана ей не удалось.

«Я идиотка, — думала она. — Какое мне дело до этой гусыни Карин? Вижу ее раз в полгода и почти не знаю. Впрочем, не совсем так. Ясно, что она славная девушка, всегда готовая прийти на помощь. По возрасту она могла быть моей дочерью. Если бы тогда в Мюнхене я не избавилась от своего ребенка, то он теперь был бы как раз в возрасте Карин. Наверное, поэтому я и защитила ее от Фридемана».

Она потрогала щеку, и чувство ненависти вновь овладело ею. Посмотрела в окно на виллу. «Представляю, какой свиной хлев устроили они там вчера. Мне и Анне работы хватит на целый день. Конечно, Карин поможет нам, когда оправится от потрясения, а дядя уйдет из дома. Дора, как всегда, улизнет. Пойдет к портнихе, парикмахерше или к своему любовнику, если он существует не только в воображении Фридемана. Она все может позволить себе, ведь она госпожа». У дверей послышалось слабое мяуканье. Лиза приоткрыла дверь, и Пусси молнией исчезла в саду.

«Придется, пожалуй, как следует потрудиться», — мрачно подумала она и, повязав фартук, вышла из домика. По узкой тропинке подошла к вилле, спустилась по ступенькам вниз и отперла дверь в подвальное помещение. Нижним коридором она прошла в зал. Отбросив ногой несколько пустых бутылок, с отвращением оглядела зал. «Этим хлевом пусть займется Анна», — подумала она, проходя на кухню.

На кухне Лиза убрала осколки посуды, разбросанные по полу, и сварила себе кофе. На часах было начало восьмого, и

если Анна будет пунктуальной, то она появится через час. Фридеман до обеда глаз не покажет.

За дверью послышалось слабое мяуканье. Пусси опять проникла в дом. Если Фридеман заметит ее, то не миновать скандала. Но в первую очередь шуметь будет Дора — она не выносит кошек.

Лиза быстро поднялась и открыла дверь. Снаружи ждала Пусси. Хеттерле наклонилась, чтобы взять ее на руки, но кошка сделала элегантный прыжок и побежала по коридору, ведущему в спальню Доры. «Этого мне еще недоставало», — подумала Хеттерле. Она совсем перепугалась, когда Пусси проскользнула в спальню. Мгновение Хеттерле постояла в растерянности. «Это просто беда, — подумала она. — С Дорой случится истерический припадок. Надо попытаться выманить Пусси».

Лиза приоткрыла дверь пошире. В сумеречном свете зыбко вырисовывались очертания мебели. В поисках кошки она окинула взглядом всю комнату и сразу заметила нечто такое, что показалось ей странным. Этим странным была человеческая нога, покоившаяся на коврик перед кроватью. Хеттерле окаменела. Казалось, прошло бесконечно долгое время, пока она осмелилась посмотреть на кровать. Кровать была пуста.

Неуверенными шагами Хеттерле подошла к окну и подняла жалюзи. Комната озарилась ярким светом. Она закрыла левую оконную створку, которая была приоткрыта, и глубоко вздохнула. Считая себя способной вынести то страшное, что ожидала увидеть, она повернулась. Дора Фридеман лежала навзничь рядом с кроватью. Под отвернутой полкой халата видна шелковая ночная рубашка, вокруг шеи повязан шарф, концы которого свисали к левому плечу. Было ясно, что Дора умерла не естественной смертью. Не отрывая взгляда от застывшего в смертельном страхе лица с широко раскрытыми глазами и полуоткрытым ртом, Хеттерле попятилась и столкнулась с кем-то, кто стоял позади нее. Кровь стучала в висках, она чувствовала близость обморока. Не вернулся ли убийца, чтобы покончить и с ней?

— Вот ты где, Лиза! — услышала она голос Карин. — Что ты здесь делаешь?

— Твоя тетя, — слабым голосом произнесла Хеттерле, — твоя тетя мертва...

Карин посмотрела на нее так, как будто сомневалась в ее рассудке. Затем огляделась, увидела ногу рядом с кроватью, и ее охватил ужас.

— Ты точно знаешь, что тетя мертва? — спросила она. — Возможно, ей еще можно помочь...

Она сделала несколько шагов по комнате, затем остановилась и отвернулась. Рыдания сотрясали ее.

— Доре уже никто не сможет помочь, — сказала Хеттерле.

— Но... отчего же она умерла? — заикаясь, спросила Карин.

— Ее кто-то удушил. Шарфом.

В глазах Карин появилось странное выражение.

— Кто это мог быть? — спросила она. — Теми, кто это совершил, пусть займется полиция. Пойдем позвоним.

Хеттерле побледнела и закрыла глаза.

— Никакой полиции, прошу тебя, Карин, никакой полиции, — прошептала она.

— Но иначе же нельзя, — спокойно сказала Карин. — Если совершенно убийство, то полиция обязана найти убийцу.

— Этого не захочет твой дядя.

Они замолчали. До сих пор никто из них не упоминал о Вальтере Фридемане. Было ли это связано с тем, что он их глубоко оскорбил прошлой ночью, или же у них неосознанно зародилось какое-то подозрение?

— Позови его сюда, Лиза, — нерешительно сказала Карин.

Спальня Фридемана помещалась на втором этаже. Хеттерле поднялась наверх, но тотчас же вернулась назад.

— Твоего дяди нет.

Обе женщины посмотрели друг на друга.

— Он и спать-то не ложился, — добавила Хеттерле. Ее подозрение начало переходить в уверенность. Карин, казалось, также пыталась подавить в себе похожие мысли.

— Я позвоню в полицию, — сказала она. — Другого выхода у нас нет.

Хеттерле устало склонила голову. Уходя в зал, Карин почувствовала странную тяжесть в затылке. Она боялась. Казалось, опасность подстерегает ее повсюду. Торопливо набрала номер районного комиссариата полиции. Сообщив о случившемся, почувствовала облегчение. Затем она позвонила в институт и попросила Петера Ланцендорфа.

— Если можешь, приходи быстрее сюда. Случилось нечто страшное...

В это мгновение ноги ее подкосились, и она прислонилась к стене: посредине зала, в нескольких шагах от себя, Карин увидела неизвестного мужчину.

* * *

Ковалова бросила три кусочка сахара в чашку и, охая, села за письменный стол. Прошлой ночью она порядком устала, а прежних сил уже не было. Раньше такие вечера доставляли ей одно удовольствие. При воспоминании о прошлом ее охватывала грусть. Ночной бар в Берлине, потом жизнь в Париже. Не надо было совершать ошибки, выходить замуж за монсеньора Дуранда. Единственным выигрышем, доставшимся ей от этого супружества, было французское гражданство. Но год спустя после развода все пошло прахом: она заболела гриппом в тяжелой форме, а выйдя из больницы, уже была никому не нужна и рада была получить место консьержки в дамской уборной.

Это было самым горьким воспоминанием, даже еще более горьким, чем тот год тюрьмы, к которому ее приговорили в Лондоне во время войны. Возможно, не следовало тогда бежать в Англию, а надо было остаться в Париже, не боясь немецкой оккупации. Но, как ей казалось, в роковые минуты она всегда выбирала верный путь. Даже когда бежала из Крыма с остатками белых войск генерала Врангеля. Она была авантюристкой, а в дамской уборной редко что случается.

Сейчас она с наслаждением пила чай. Точно в половине восьмого в комнату с бумажным рулоном в руках вошел Вернер Фазольд.

— Приветствую вас, уважаемый мастер, — произнесла Кова-

лова тоном, выразившим одновременно иронию и некоторое уважение.

От подобного обращения Фазольд всегда чувствовал себя неловко.

— Я принес эскиз афиши, — сказал он. — Желаете посмотреть?

— Давайте-ка сюда, дорогой друг.

Вверху афиши — неестественно голубое небо, ниже — море с пенящимся прибоем, на переднем плане — песчаный пляж с двумя пальмами. Между пальмами — танцующая фигурка чернокожей девушки. Одевание ее состояло из тропического цветка, украшавшего прическу, и тростниковой повязки вокруг бедер. Текст гласил: «К чему вам Гавай, если есть Флорисдорф? Посетите Черкесский бар на Бертлгассе!»

— Хорошо! — сказала Ковалова. — Очень хорошо! Но я хотела бы Флорисдорф заменить на Вену, на более известный город. Замените. Тогда мы сдадим афишу в печать. Хотите водки?

Фазольд покачал своей крупной головой и сел.

— Спасибо, с меня достаточно вчерашнего. Афиша вам действительно понравилась?

— Я знаю, — ответила Ковалова, — чего желают мои клиенты: плоти. А эта плоть и предлагается на вашей афише. Это как раз то, что требуется.

— Но не мне, — сказал Фазольд.

— Вам платят за это деньги.

— Речь идет не о деньгах. Немного искусства не помешало бы и здесь.

— А разве его здесь нет? — спросила Ковалова. — У этой малышки совсем неплохая фигура. Кого-то она мне напоминает. Только вот кого? Ах да, Дору Фридеман. Дора, конечно, постарше, но это не помеха. Так, натурщицей у вас была Дора? Фазольд побледнел.

— Она скорее бы выцарапала мне глаза.

— Ну, вчера я ничего подобного не почувствовала.

Ковалова вновь принялась рассматривать афишу. В тревоге Фазольд закусил губу: не заметили ли чего-нибудь и другие?

— Вы очень несмелы, Фазольд, — сказала Ковалова, поднимая взгляд на него. — Некоторые женщины охотно идут на это. Если бы вы вчера захотели, то смогли бы иметь целую дюжину. А вы влачите одинокую жизнь в своей таинственной берлоге. Собственно, каким образом вы добрались вчера домой? Пешком?

— Здесь у причала была моя лодка, на ней я и переплыл Старый Дунай.

— Как романтично! Тогда вы определенно были не один.

Фазольд пожал плечами.

— К сожалению, мне никого не удалось подхватить.

— Сказали бы мне. Я бы посодействовала. Да и ваш друг Фридеман мог бы вам помочь.

— Он мне не друг.

Ковалова вскинула брови.

— Сегодня такое я слышу впервые. Разве вы не были вместе в концлагере? Кстати, в каком?

— В последнее время — в Эбензее, — мрачно произнес Фазольд.

— Складывается впечатление, — продолжала Ковалова, — что он не всегда был вашим другом. Впрочем, вчера вы грелись в лучах его милости и оставались до конца. Нас же просто выгнали.

— Вы ошибаетесь. Меня он тоже выставил, и последним ушел Деттмар.

Ковалова покачала головой.

— Бедный Деттмар. Мне он также рассказал о своих заботах. Я сомневаюсь, чтобы Фридеман дал ему хотя бы один грош. Фридеман тверд, как гранит. Но вы-то его лучше знаете.

— Я знаю его только по чисто деловым отношениям: я работал на него.

— Этого достаточно, — сказала Ковалова. — Деловые контакты говорят сами за себя. Вы проделали для него большую работу. Сначала продовольственные карточки...

— Это было давно! — смутившись, воскликнул Фазольд.

— Потом испанские паспорта, водительские права и облигации пять лет назад.

Фазольда бросило в пот. Что она еще знает?

— С этим покончено, — прервал он ее.

Ковалова хихикнула.

— После всех операций, числящихся за вами, нет смысла выходить из дела. Лучше продолжать.

— Я прекратил — с ожесточением сказал Фазольд. — Теперь он что-то затевает с закладными. Но я ему сказал: без меня!

— И он согласился?

— А что же ему оставалось делать?

— Если Фридеман так много знает, он не спустит вас со своего поводка.

Рот Фазольда искривился в улыбке.

— Я тоже о нем кое-что знаю.

— Почему, собственно, вы пошли на это?

Фазольд отвел взгляд.

— Это было в трудные времена. Я только что вернулся из концлагеря, к тому же был молод и легкомыслен.

— Убедительные причины, — кивнула Ковалова. — Но не думаете ли вы, что следует позаботиться и о Фридемане? Расстались вы с ним не как друг.

Ковалова наклонилась к нижнему ящику письменного стола, чтобы достать бутылку водки, но тотчас же поднялась, услышав телефонный звонок.

— Минуточку, — сказала она, взявшись за телефонную трубку. — Черкесский бар, Ковалова. Пожалуйста.

Вдруг она оживилась.

— Но, дитя мое, почему вы так волнуетесь? Как вы сказали? Дора? — На лице ее отразилось крайнее возбуждение. Отсутствующим взглядом она посмотрела на Фазольда.

Фазольд приподнялся и схватился за ручки кресла.

— Как? — крикнула Ковалова, охваченная ужасом. — Ваш дядя тоже? Это же невозможно! Успокойтесь, дитя мое, успокойтесь. Я приду к вам, как только освобожусь. До свидания.

— Что-то плохое? — спросил Фазольд в крайней тревоге.

Ковалова многозначительно посмотрела на него.

— Ваша проблема, кажется, разрешилась простейшим образом, — сказала она.

Нижняя губа Фазольда начала нервно подергиваться.

— Ваш друг, или, вернее сказать, недруг, мертв. Его жена тоже.

Художник точно загнипнотизированный уставился на Ковалову.

— Как же это случилось?

— По-видимому, он ее удушил, а потом сам повесился. Бедная девушка эта Карин. Теперь у нее никого нет, кто бы мог о ней позаботиться. Вам стоит ее посетить. Если вам не нравился дядя, то племянница здесь ни при чем.

Механическим движением Фазольд схватил со стола рулон афиши.

— Я поеду к ней. Всего доброго, фрау Ковалова. Афишу исправлю и пришлю вам.

Ковалова посмотрела ему вслед, и гримаса резче обозначила уголки ее губ. «Слабый характер, — подумала она. — Как хорошо, что мне тотчас же сказали, о чем идет речь, когда я их поставила в известность. То, что нужно, я определенно получу, и для этого не потребуется много времени. — Она посмотрела на телефонный аппарат. — Все дело в импровизации. Вот что можно извлечь из разговора, если собеседник вовремя положит трубку. Такой маленький эксперимент очень заманчив, в особенности тогда, когда ты в курсе дела».

* * *

Точно дуновение ветра пронеслось над спящим Эдгаром, и затихающий звук шагов привел в движение цепь пестрых картин.

Все тот же штудийенрат*, маленький и худой, как жердь, подняв испачканный в чернилах указательный палец, объявляет с явным злорадством: «Маффи оставлен на второй год!» Потом бегство к границе, которую ему не суждено перейти. За ним гонится отец, покрытый мучной пылью, в колпаке пекаря. В последнее мгновение он хватается сына. Потом сберегательная касса, работу в которой он выполнял с монотонной аккуратностью, пока не явились двое в масках и с холщовой сумкой. Под пистолетом они вынудили кассира выложить всю наличность. Он смотрел на них с поднятыми руками, и его охватила ярость. Он прыгнул через кассовый столик и свалил одного бандита. Другой повернулся и выстрелил... Пуля царапнула Эдгара по ноге, но он обезоружил одного грабителя и держал обоих на мушке, пока не подоспела полиция. Толстый комиссар из уголовного комиссариата сначала удивился, а затем порекомендовал ему поступить на службу в полицию. После года учебы в полицейской школе он же затребовал Маффи к себе в отдел, взял под свое личное покровительство...

Он спокойно лежал на спине и размышлял. Конечно, Шельбаум не находка, но у него есть чему поучиться. Он смыслит

* Австрийские учителя, находящиеся на государственной службе, имеют чины. Штудийенрат (школьный советник) — один из таких чинов. (Примеч. ред.)

в своей профессии куда как больше, чем шеф, этот доктор Видингер. С другой стороны, судьбой подчиненных распоряжается сам Видингер. Однажды он предложил ему вступить в ряды ССА и за это обещал «открыть путь наверх». Маффи медлил. Он знал о прошлом Шельбаума, его взглядах и был уверен, что, согласившись, потеряет его расположение. Но, с другой стороны, он хотел продвинуться, и такой возможностью нельзя было пренебречь.

Умывшись и одевшись, он прошел на кухню. На столе, рядом с букетом цветов, стоял кофейный чайник под грелкой, в хлебнице лежали хрустящие булочки, а рядом с тарелкой — записка и ключ. Он прочел: «Тщательно запири, а ключ брось в почтовый ящик, если, — здесь он должен был повернуть записку, — ты не пожелаешь его отдать мне сам сегодня вечером. Целую. Эвелин».

На кухонном буфете стоял транзистор. Включив его, он услышал сводку погоды и сигналы времени: четверть восьмого. Слишком рано, чтобы ехать в отдел, где ему надо быть в девять, и слишком поздно чтобы забежать домой. «Пройдусь немного», — подумал он.

Позавтракав, он навел в кухне порядок и закурил сигарету. В прихожей надел пальто и вышел из квартиры, тщательно заперев ее, как просила Эвелин. У садовых ворот он остановился и посмотрел на почтовый ящик. Подбросив ключ вверх и поймав его, он не без удовольствия сказал про себя: «Я заберу тебя. Я должен сюда вернуться».

Земельный участок, раскинувшийся за улицей вплоть до Старого Дуная, принадлежал Фридеману. Железный решетчатый забор виллы ремонтировался, поэтому правая сторона участка была частично открыта. Здесь копошился старик, покрывавший железные прутья желтой антикоррозийной краской.

Маффи обратился к нему:

— Позвольте пройти к берегу!

Старик недовольно посмотрел на него и спросил:

— Уж не вы ли сегодня ночью перевернули мой горшок?

При этом он указал на кастрюлю, лежавшую вверх дном у конца поставленного забора. По траве от нее тянулась полоса густой краски. Маффи немного поболтал с ним, разделил его возмущение. Это старику явно пришлось по душе. Очевидно, поэтому он и разрешил ему пройти через сад напрямик к воде.

Под все еще густыми кронами буков и каштанов Маффи спустился к берегу. У Дуная тянулась полоса кустарника высотой в человеческий рост. Пробираясь сквозь этот кустарник, он вышел на прибрежную полянку, уже высохшую от росы. В нескольких шагах справа у причального мостка были пришвартованы моторка и лодка.

Взгляд его, скользящий вдоль причального мостка, вдруг остановился. На какое-то мгновение он оцепенел. В конце мостка на простертой над водой ветке бука, в тени которого он намеревался расположиться, висел на веревке человек. Ноги его почти касались воды.

Маффи был не из робкого десятка. Не так уж мало он повидал, работая в полиции. Но силуэт мертвеца на освещенной утренним солнцем дунайской глади нагнал на него страх. Мед-

ленно приближаясь к труп, он вспоминал события прошлой ночи.

Эвелин разбудила его, потому что кто-то кричал в смертельном страхе. По ее словам, это был крик женщины. Нет ли связи между этим криком и мертвецом? Подойдя к мостку, он наклонился. Взгляд его упал на деревянные доски. На них слабо, но все же довольно четко вырисовывались желтые пятна, как будто кто-то прошел здесь в ботинках, запачканных краской.

Маффи приблизился к мертвецу. «Врач ему уже не потребуется», — подумал он, потрогав лоб и руки повесившегося. Кожа была холодна. Но он знал, как трудно точно определить момент наступления смерти. Он прикинул: не перерезать ли веревку и не положить ли труп на мосток? Но одному ему это не под силу. Кроме того, какое ему до этого дело? Этот случай — предмет забот районного комиссариата полиции и городского морга. Пусть там и займутся выяснением личности умершего. Ясно, что речь идет об обычном самоубийстве.

Возвращаясь с мостка на берег, Маффи вновь и вновь спрашивал себя, что мог значить ночной крик. «Я должен рассказать об этом коллегам, — решил он. — Правда, нельзя будет скрыть, что я был у Эвелин. А для нее это будет не очень-то приятно, ведь они захотят услышать обо всем из ее собственных уст». Но ничего другого он придумать не мог.

На улице, где старик ставил забор, он решил представиться и достал свое удостоверение. До старика с трудом дошло, что молодой человек служит в уголовной полиции.

— Не ходите к мостку и никого туда не пускайте, пока я не вернусь, — распорядился Маффи. Старик, сбитый с толку, начал задавать вопросы, но Маффи безмолвно кивнул и пошел через сад к вилле Фридемана, где наверняка был телефон. Он нажал на кнопку входной двери, но звонок не работал. Стук его также, казалось, никто не слышал. Тогда он схватился за дверную ручку и, не теряя времени, вошел в дом. Из прихожей он прошел в зал. Рядом с лестницей, ведущей на второй этаж, возбужденно говорила по телефону белокурая девушка. Сначала девушка его не заметила, но, когда увидела, ноги ее подкосились, и, смертельно побледнев, она прижалась к стенке.

* * *

— Кто-то тебе звонит.

— Вот как? И кто же?

— Откуда мне знать?

Герда Брандлехнер обладала неподражаемой манерой вызывающе отвечать. Ударив по рукам Деттмара, пытавшегося обнять ее, она выскользнула из комнаты.

Бывая в Вене, Деттмар останавливался в этом небольшом отеле на Мартаплац, купленном Брандлехнером около пяти лет назад. Во время войны оба они принадлежали к штабному персоналу одной и той же армии. В то время как фельдфебель Брандлехнер оберегал офицеров во время их пребывания в казино, зондерфюрер Деттмар охранял их драгоценную жизнь в

бомбоубежище. Загадка столь высокого доверия разрешалась очень просто. Деттмар был предан Фюреру, что и доказал своим членством в фашистской партии. Именно поэтому он и попал на службу в контрразведку, где его послали на пост, на котором он мог иметь весьма ценные наблюдения. Особенно отличился он во время событий 20 июля 1944 года*. Тогда он выдал нескольких подозрительных офицеров и даже удостоился похвалы начальства. Эта сторона его деятельности осталась в тайне, в конце войны он попал в обычный английский лагерь для военнопленных, а год спустя был выпущен. После этого он одним из первых вступил во вновь созданную Немецкую имперскую партию**. С помощью дружеских контактов, которые США поддерживала с неонацистскими группировками в Западной Германии, Деттмар завязал деловые отношения с Фридеманом.

Бывший камерад Брандлехнер вернулся из лагеря военнопленных несколько позже. Поначалу дела у него шли плохо, и Деттмар великодушно ссудил его небольшой суммой денег, на которую Брандлехнер купил неплохой отель на Мартаплац. Теперь, когда понадобилась его помощь, Брандлехнер только клялся в своих симпатиях к нему, которые ровно ничего не стоили, а денег не давал.

Спускаясь в гостиную, Деттмар размышлял, под каким предлогом вновь посетить Фридемана. Вчера он потерпел фиаско и злился на себя за то, что сунулся со своей просьбой в такой неблагоприятный момент. «Пожалуй, самое лучшее еще раз попытаться сегодня после обеда», — решил он. Возле стойки он почти весело кивнул младшему Брандлехнеру и направился в телефонную будку.

— Деттмар, — назвался он, все еще думая о том, как ему уговорить Фридемана.

Голос, который он услышал в трубке, был тихий и какой-то неопределенный.

— Сообщаю вам, — говорил голос, и нельзя было разобрать, принадлежит он мужчине или женщине, — господин Фридеман и его жена мертвы. Вы были последним, кто видел их живыми.

В трубке щелкнуло, и все смолкло.

— Алло! Алло!.. — закричал Деттмар возбужденно. — Пожалуйста же...

Однако ответа не последовало. Он тупо уставился на трубку и почувствовал, как его охватывает страх. «Вы были последним, кто видел их живыми». Это было явное подозрение. Хотят его впутать в историю с убийством? Он начал лихорадочно искать в карманах шиллинг. Когда наконец нашел, то оказалось, что он забыл номер телефона Фридемана. Телефонной книги в будке не было. Он вспомнил, что записывал номер в свой блокнот, который сунул в нагрудный карман. Он достал записную книжку и набрал номер. Прозвучал сигнал «свободно». Кто-то поднял трубку и тихо сказал:

— Пожалуйста.

Несколько мгновений было тихо, затем он услышал всхлипы-

* В этот день группа военных совершила покушение на Гитлера.

** Одна из первых послевоенных организаций реваншистского толка в ФРГ. Просуществовала недолго и была распущена.

вания и потом слова, отрывисто выкрикнутые в крайнем возбуждении:

— Господин Фридеман мертв... и его жена... также. — Деттмар узнал голос горничной. В отчаянии он закрыл глаза, но тотчас вновь открыл их. Мужской голос резко спросил: — Кто говорит?

Стремительным движением он повесил трубку и прислонился к стенке будки. Так, значит, это правда. Он почувствовал, как покрывается потом. Ему хотят пришить мокрое дело? Даже если полиция установит его невиновность, то с ним все равно будет покончено. И не только потому, что его последняя надежда спасти связана с Фридеманом. Он уже видел перед собой броские заголовки: «Стройподрядчик подозревается в убийстве», «Не был ли отказ в кредите причиной двух убийств?» Договоры на банковские кредиты будут расторгнуты, поставки приостановлены, и фирма покатится к краху.

Его охватил дикий страх оттого, что он может оказаться козлом отпущения. Он вспомнил свой военный опыт, представив, как легко штемпелевали виновных из невиновных. Нет, надо бежать, и бежать немедленно. Когда он покидал телефонную будку, на него с удивлением посмотрел младший Брандлехнер.

— Вам плохо?

Деттмар покачал головой.

— Где ваш отец? — спросил он устало. — Я должен с ним переговорить.

— В конторке, — ответил Брандлехнер.

Старший Брандлехнер читал газету и пил кофе. Его круглое лицо с обвисшими усами было скрыто сигарным дымом. Он предположил Деттмару чашку кофе, но тот отказался и сел напротив.

— Заботы? — спросил Брандлехнер.

Деттмар кивнул.

— Мне надо немедленно уехать.

— Мы все приготовим, — услужливо произнес Брандлехнер. — Очень жаль, что ты не можешь дольше побыть у нас. Послать кого-нибудь за багажом?

Деттмар отрешенным взглядом смотрел в пол.

— Ты неправильно меня понял, — сказал он. — Никакого официального отъезда с проводами и носильщиком. Я должен уехать, исчезнуть, и чтобы никто не знал куда.

Лицо Брандлехнера выплывало из клубов дыма, точно полная луна из-за облаков. Кончики его усов приподнялись — явный признак возбуждения, охватившего его. Какое-то мгновение Деттмар прикидывал, не сообщить ли ему о том, что случилось, но тут же прогнал эту мысль. Наверняка Брандлехнер не согласится ему помочь. Никто не желает иметь дело с убийцами.

— Следовательно, ты хочешь уехать на машине с номерным знаком Федеративной республики, — догадывался Брандлехнер.

Деттмар размышлял.

— Нет смысла, — сказал он. — К номерному знаку у меня нет документов, а мой «фольксваген» так и так на подозрении.

— Где ты намерен перейти границу? У Пассау, Браунау или у Зальцбурга?

— Там они будут особенно настороже, — возразил Деттмар. — Мне надо в Италию. Оттуда через Швейцарию я смогу вернуться домой.

Брандлехнер покачал головой.

— Ты должен попытаться в Гантерне, — сказал он. — Там не так оживленно. Но сначала надо туда добраться. Поездом... — У меня нет времени, — прервал его Деттмар. — Одолжи твой «рено»!

— А если тебя задержат...

— Машину я оставляю в Гантерне. Твой сын пригонит ее оттуда.

Брандлехнер раздавил окурок сигары.

— Послушай, — сказал он грубо. — Я не знаю, почему ты должен смыться, и вовсе не хочу знать. Но с такими вещами я не хотел бы иметь дело. Если они тебя сцапают, то я покажу, что ты машину украл. Идет?

— Вот это называется настоящий друг.

— Друг, но и не идиот. Если все обойдется, то машину мы вернем. Так что ж? Согласен?

— Ничего другого не остается, — с горечью ответил Деттмар. — Не знаешь кого-нибудь в Гантерне, кто мог бы меня переправить?

Брандлехнер задумался.

— Спроси Рудольфа Леенштайнера. Он живет за церковью. Его парень поможет тебе. Иногда у него бывают дела на той стороне.

— А если он откажется?

Брандлехнер просвистел пару тактов.

— Знаешь эту песню?

— Не начало ли «Эдельвайс и Энциан»?

— Да. Если они это услышат, значит, все будет в порядке.

— А этого достаточно?

— Достаточно. Естественно, вместе с соответствующим вознаграждением.

— Понимаю, — сказал Деттмар. — В Южном Тироле вы имеете дело с...

Движением руки Брандлехнер оборвал фразу.

— Меня не интересует, что ты вынужден расхлебывать, но и ты не лезь в дела, которые тебя не касаются.

Деттмара задела резкость этих слов. Брандлехнер был связан с террористами, намеревающимися решить южнотирольскую проблему на свой манер. Но это была не та тема, которой позволялось касаться посторонним.

— Ну хорошо, — сказал стройподрядчик, вставая. — Пойду собираться...

— Украденные ключи от гаража, — произнес Брандлехнер, бросив на письменный стол связку клисчей. — Тебе необязательно ломать ворота.

— Спасибо, — пробормотал Деттмар. — Тогда я попрощаюсь уже сейчас.

Он протянул руку Брандлехнеру. Тот не шелохнулся. Деттмар с неудовольствием отметил, как изменилась ситуация. Он не был более привилегированным клиентом, по глазам которого угадывалось любое желание. Он был всего лишь преследуемым, которому вынуждены помогать.

Наверху, в своем номере, его вновь охватил страх. Они могут

прийти за ним сюда. Нельзя медлить ни минуты. Он лихорадочно стал закидывать свои вещи в чемодан.

В это время в номер вошла Герда Брандлехнер.

— Сто тридцать восемь шиллингов, — громко произнесла она. — Старик считает, что на этот раз лучше было бы обойтись без счета.

«И за свои деньги боится», — подумал Деттмар, отсчитывая шиллинги.

* * *

Окружной инспектор Нидл был красным от гнева.

— Кто вам позволил сообщать по телефону, что ваш господин мертв? — грубо набросился он на горничную.

— Этого мне никто не запрещал, — защищалась Анна.

Нидл вынужден был признать логичность аргумента и несколько спокойнее спросил:

— Вы не знаете, кто звонил?

Девушка отрицательно покачала головой и, напуганная, ушла на кухню.

Инспектор, поручив одному из сотрудников не спускать глаз с телефонного аппарата, вернулся в спальню Доры Фридеман. Фотограф и следственная группа уже закончили свою работу и вместе с Шельбаумом и Маффи ушли на берег Старого Дуная.

— Ее можно унести, — сказал врач Нидлу. — В институте произведут вскрытие, но я не думаю, что оно внесет какие-то существенные изменения в мое заключение.

Нидл погладил ежик своих волос.

— И что же говорится в заключении?

— Асфикция в результате удушения, — ответил врач. — Оружие убийства — шарф.

Желтый шарф висел на спинке кресла. Нидл взял его и потрогал. Он был из натурального шелка.

— Следовательно, убийство?

— Едва ли это был несчастный случай... — язвительно ответил врач, закрывая черную кожаную сумку. Кивнув Нидлу, он отправился обследовать другой труп.

Инспектор подал знак полицейскому, стоявшему у двери. Вскоре появились двое мужчин с носилками. Когда труп вынесли, Нидл вернулся в зал. Он на мгновение задумался и неодобрительно покачал головой. Маффи вовсе не следовало бы звонить в отдел, к чему привлекать комиссию по расследованию дел об убийстве, если и так все ясно? Правда, дела об убийстве подлежат ее компетенции. В любом случае, даже если человек сам повесился на берегу Старого Дуная.

Из столовой, расположенной рядом, слышались голоса. Он открыл дверь и увидел сидевшую на стуле бледную Карин. Ее допрашивали.

Милая девушка, подумал Нидл. Крепко ей досталось. Потерять таким образом двух родственников. Теперь ей будет нелегко. Конечно, волей-неволей привыкнешь к одиночеству, как, к примеру, привык он за пятнадцать лет своего вдовства. О своей супружеской жизни, продолжавшейся всего полгода, он вспоминал

редко и неохотно. Однако где-то в самой глубине своего сознания он понимал, что слишком любил свою жену, умершую от белокровия, чтобы жениться вторично. Поэтому он весь отдался исполнению своего служебного долга. Он поддерживал удивительные отношения с преступным миром Вены, отношения, вызывавшие подчас у сослуживцев подозрение.

Шельбаум понимал его лучше других. Он знал, почему Нидл стал таким. Он был свидетелем того, как Нидл метался целыми днями в состоянии полной растерянности, когда умирала жена. К тому же он чувствовал и некоторую ответственность за него. Нидл был хорошим криминалистом, и Шельбаум сам пригласил его в уголовный отдел. Нидл, который вообще не интересовался политикой был предан обер-комиссару. В любой момент, если в том была необходимость, ему можно было дать задание. Если его не было дома — он жил на Вебергассе, — то его можно было найти в кафе Ладингера за партией шахмат.

Некоторое время Нидл прислушивался. Нет, Карин не слышала, совершенно ничего не слышала. Она спит в мансарде, под самой крышей. Она не может также сказать, как вчера закончился праздничный вечер. Она почувствовала себя неважно и приняла снотворное. Труп она увидела после того, как его обнаружила экономка, — все это она уже излагала обер-комиссару.

В столовую вошла Хеттерле с подносом, уставленным чашками с дымящимся кофе. Она поставила поднос на стол и собралась уходить.

— Одну минуточку, — сказал Нидл. — Нам хотелось бы еще раз услышать о наиболее существенном, замеченном вами.

Хеттерле посмотрела на него без всякого выражения.

— Я уже все сказала.

— Несмотря на это, — возразил Нидл и взял чашку кофе.

Хеттерле села на краешек стула, скрестив руки жестом, который у Нидла вызвал особенно тоскливое чувство. Он напомнил ему умершую жену, которая отдыхала в такой же позе.

Хеттерле отвечала тихим монотонным голосом. Да, она обнаружила труп. Карин вошла в спальню после нее и позвонила в полицию, затем появился молодой сотрудник из уголовной полиции, который также хотел позвонить по телефону после того, как обнаружил мертвым господина Фридемана.

Нидл задумался. Не слышала ли она что-нибудь прошлой ночью? Нет, еще до конца вечера она ушла в садовый домик и легла спать.

— Допустим, ваш уход совпал с концом вечеринки, — вслух размышлял Нидл. — А почему гости так поспешно покинули виллу?

— Не было ни одного года, чтобы прием кончался нормально, — ответила Хеттерле. — Фридеман почти всегда ухитрялся найти повод для скандала и выгонял всех.

— А на этот раз?

— Он все время был в возбужденном состоянии, — сказала экономка. — Он вбил себе в голову, что жена имеет любовника.

— Это правда?

— Я не знаю, — ответила Хеттерле, пожимая плечами. — Об этом она со мной не говорила.

Карин, потупившись, смотрела на пол. Один чиновник, допрашивавший ее, пил кофе, другой стенографировал.

— Других причин у него не было?

Карин подняла взгляд. Инспектору показалось, что в ее глазах что-то промелькнуло. Хеттерле тоже какую-то долю секунды медлила, прежде чем ответить. Но он мог и ошибаться.

— Нет, — сказала Хеттерле.

— Что с вашим лицом? — спросил Нидл.

— Двенадцать лет назад я попала в катастрофу и ударилась о ветровое стекло, — ответила Хеттерле, бледнея.

— Я не это имел в виду. Левая сторона вашего лица припухла. Тоже ударились о что-то?

Хеттерле смотрела неподвижным взглядом.

— Вчера меня ударил господин Фридеман, — тихо сказала она наконец.

— Срывал на вас зло из-за жены?

Он вновь отметил еле заметное колебание.

— Да, — сказала она. Нидлу показалось, будто белокурая девушка с облегчением вздохнула. Он поднялся и взял кофе.

— С вами еще раз побеседует обер-комиссар, — сказал он. — Прошу из дома не уходить.

Он кивнул им и вместе с двумя чиновниками вышел в коридор.

— Проследите, чтобы никто из этих ошалевших репортеров не проник в дом, — строго приказал он. — Любыми средствами держите их на расстоянии.

Стоя у входной двери, он бросил взгляд на улицу. Двое полицейских из всех сил старались сдерживать дюжину газетчиков, вооруженных фотоаппаратами. Увидев Нидла, они на мгновение успокоились. Но затем начали выкрикивать вопросы, ни один из которых он в суматохе не разобрал. Еще хуже стало, когда он вышел на улицу. Пришлось заткнуть уши. Он взмахнул рукой, и все смолкли.

— Через два часа, — крикнул он, — я готов сообщить вам о том, что мне известно! Не ранее! Кто проникнет в сад или войдет в дом, не получит от нас никакой информации. А что положено за нарушение неприкосновенности жилища, вам известно.

— Параграф восемьдесят четыре, до пяти лет! — выкрикнул репортер из «Абендпоста». — Я очень хотел бы проверить, придерживаетесь ли вы этого параграфа в отношении нас.

— Не советую проверять, — сказал Нидл, пересекая улицу.

Местность, простиравшаяся до Старого Дуная, также была оцеплена полицией. У причального мостка стояли полицейские и чиновники уголовной полиции. Труп положили на носилки и прикрыли. Был виден лишь один левый рукав замшевой куртки.

Врач беседовал с Шельбаумом, который в качестве исполняющего обязанности начальника отдела полицейской дирекции вел расследование. Собственно, он так и так вел бы его, только прежде успех втихомолку присвоил бы Видингер, а неудачу отнесли на счет Шельбаума.

— Для меня совершенно ясно, что петля явилась причиной смерти, — сказал врач. — Странгуляционная полоса совпадает с положением веревки. Мужчина совершил самоубийство просто безукоризненно.

— И все же я хотел бы иметь точные данные осмотра, — сказал Шельбаум.

— Как пожелаете, — ответил врач раздраженно и пошел вверх по берегу.

— По-видимому, ясный случай, Алоис, — сказал Шельбаум Нидлу. — За измену покончил с женой, а затем повесился сам.

Он посмотрел на сук, с которого сняли Фридемана. Одна ветвь была надломлена. По-видимому, Фридеман, готсясь к самоубийству, был в очень возбужденном состоянии.

— У забора он попал в желтую краску, — продолжал вслух размышлять Шельбаум. — Она застряла в его рифленой подошве и не стерлась о траву. Следы ее видны на мостке. Одно мне только непонятно.

— А именно? — спросил Нидл.

— След ведет прямо до конца причального мостка, — ответил Шельбаум. — Фридеман выходит из дома, пересекает улицу, бежит к причальному мостку и без какой-либо паузы вешается. Какой бойкий самоубийца...

— Петлю он мог подготовить заранее, — подал мысль Нидл. — Самоубийца, поступающий с рассчитанной точностью! — усмехнулся Шельбаум. — Он заготавливает петлю, возвращается в дом, где душит свою жену, идет сюда и немедленно кончает с собой. Не кажется ли вам такой график несколько необычным?

— Почему? — спросил Нидл. — Человек, сытый по горло жизнью, хочет повеситься. Когда он вешает петлю, его охватывает ярость. Он возвращается, убивает жену и доводит до конца задуманное.

Шельбаум пожал плечами.

Маффи, который до сих пор вместе с другими чиновниками держался несколько в стороне, подошел к ним и сказал:

— Мы изъяли все, что он имел при себе.

На листе бумаги было разложено содержимое карманов покойного: зажигалка, шариковая ручка, портмоне, портсигар, связка ключей. Рядом лежали его ботинки подошвами вверх. На одной из них сохранились ясные следы желтой краски. Перед каждым ботинком лежало по куску веревки, на которой повесился Фридеман.

— Чудесный натюрморт, — проворчал Шельбаум и, кряхтя, опустился на корточки. На связке ключей висела металлическая пластинка с инициалами ВФ. Зажигалка и портсигар имели такую же монограмму. Шельбаум взял маленький ключик, который лежал отдельно от общей связки. Инициалы на этом ключике были выгравированы на кольце.

* * *

В дверь громко постучали, и женский голос прокричал:

— Кто-то с тобой хочет говорить, Руди!

Рудольф Кёрнер, в определенных кругах прозванный Ловким, перестал жевать и спросил настороженно:

— Кто там?

— Один молодой господин, — ответил голос со значением.

Лицо Кёрнера покрыла смертельная бледность. Совесть его

была настолько нечиста, что он постоянно боялся визита полиции. Он подошел к двери и отодвинул засов.

За дверью стояла толстая, неряшливо одетая женщина с мальчишкой лет восьми.

— Наверное, ожидал других посетителей? — сказала она, смеясь.

— Чего ты хочешь? — недовольно спросил он мальчишку.

— Старик сказал, чтобы ты пришел в заднюю комнату.

Ловкий соображал. Полицией здесь не пахнет. Едва ли бы она так вежливо приглашала его, да к тому же в заднюю камеру папаши Паровского.

В бледно-лиловом костюме с серым жилетом и галстуком в мелкую клетку он, точно денди, спустился на первый этаж, прошел через гостиную во двор, а оттуда в заднюю комнату, именовавшуюся «конференц-залом». Старик Паровский охотно представлял ее для «деловых бесед», и тем охотнее, чем большее участие в сделках принимал сам. Когда Кёрнер увидел ожидавшего его мужчину, у него возникло желание тотчас же повернуть обратно. Но посетитель дружески улыбнулся и пригласил его за стол. Потом он пододвинул ему стакан с вином, чего полиция никогда не делает.

Скромно одетому незнакомцу также было явно не по себе. Поэтому, опуская всякие церемонии, он спросил, склонившись к Ловкому:

— Не хотели бы вы заработать пять тысяч шиллингов?

Кёрнер вздрогнул. Пять тысяч — приличная сумма.

— Охотно, если речь идет о честной работе, — сказал он сдержанно.

— Не менее честной, чем та, которую вы исполняете в закуской на Аусштеллунгштрассе, — сказал он, засмеявшись. Это был громкий, сердечный смех, сломивший барьер неуверенности между ними.

Какое дело этому незнакомцу до его заработка на Аусштеллунгштрассе? Кёрнер владел всеми видами азартных игр, от штосса, карточной игры, именуемой в иных местах «твоя тетя — моя тетя», до «фараона». Но порвать с гильдией азартных игроков значило наверняка оказаться трупом, выловленным из Дунайского канала.

— Что вы хотите? — зло спросил он.

— Вы знаете кредитное бюро «Деньги для каждого» на Прагерштрассе?

— К чему вы мне это говорите?

Незнакомец пододвинул ему свои сигареты и поднес зажигалку.

— Мы хотим, чтобы вы посетили это место, — просто сказал он.

— Я не взломщик!

— Но вы им были.

Кёрнер жадно затянулся сигаретой. Именно из-за таких визитов он и вынужден был иногда дышать тюремным воздухом. Правда, азартные игры также запрещены, но за этим ремеслом они его еще не застукали. Если и дойдет до этого, то он отделается предварительным арестом или денежным штрафом, кото-

рый, кстати, будет выплачен не им самим, а из фонда ассигнований на непредвиденные инциденты.

— Это дело прошлого.

Он вспомнил, как после войны начал изредка воровать по мелочи. Более солидного он тогда не мог предпринять, а пять сестер — собственно, сводных сестер, каждая из них имела своего отца, — были голодны. Мать долго болела, потом умерла от чахотки. Так он покатился по наклонной, пока не познакомился с судьей по делам молодежи. Но к этому времени гильдия уже крепко держала его в своих руках.

— До свидания, мы ждем от вас предложений, — сказал незнакомец. — К примеру, если найдется на товарной станции в Матцляйнсдорфе динамо-машина, которую можно купить за восемьсот шиллингов.

У Кёрнера стало тревожно на душе. Откуда этот тип знает про машину? Проболтался кто-то из коллег? Может быть, негритянка Вэлли?.. «Нет, нельзя его раздражать», — подумал Кёрнер.

— Для меня это большой риск, — пробормотал он.

— Совершенно никакого! С дверью дома вы справитесь за просто. Помещение, в которое вы должны проникнуть, не имеет автоматического замка с секретом. Охраны никакой.

— Я не взломщик сейфов.

— Этого и не требуется. С этажерки, стоящей рядом с дверью, вы должны достать папку с надписью «28Т-У». Она нам нужна.

— Кому это «нам»?

— Это вас не касается. За папку мы выплачиваем пять тысяч шиллингов.

Кёрнер размышлял. Предложение заманчиво. Намерение подвести его маловероятно. Это они могли сделать и проще, поскольку знали о нем достаточно много. Его удивляло только одно, почему они сами не выкрадут папку, если это так просто...

— Есть в конторе сигнальное устройство? — спросил Кёрнер.

— Никакого.

— Расскажите-ка о некоторых деталях.

Незнакомец рассказал. В заключение он потребовал:

— Все сделать надо сегодня ночью. Завтра в это же время я заберу папку. Где встретимся?

— Лучше здесь, — ответил Кёрнер. — С условием, что вы будете иметь деньги при себе.

Незнакомец расхохотался, как будто он услышал веселую шутку.

— Обязательно буду иметь.

Он кивнул на прощание Ловкому и вышел во двор.

Кёрнер воспользовался выходом, который вел в гостиную. В гостиной у окна сидели двое рабочих. Хозяин стоял за буфетной стойкой и откупоривал для них пивные бутылки.

— Одну мне, — сказал Кёрнер. — Кто же это все-таки был? Старик Паровский обеспокоенно посмотрел на него.

— Что-то неладно? Мне он тоже показался каким-то странным, но он сказал, что он твой лучший друг. Шесть лет назад вы вместе сидели в одной камере. Назвался он Ритцбергером.

Кёрнер молча взял пиво.

Черный «штейр-фиат» выглядел в сравнении с «мерседесом» точно карлик рядом с геркулесом.

— Уж выезжать господину Фридеману было на чем, — заметил инспектор Нидл, бросив взгляд на огромную машину.

— На «мерседесе» ездила госпожа, — уточнила горничная.

Нидл посмотрел на все таким ошеломленным взглядом, что Шельбаум не мог удержаться от улыбки. Он подал знак Маффи запереть гараж и начал подниматься по наклонному съезду. Увидев за забором нетерпеливо ожидавших репортеров, он быстро зашел за дом, огибая террасу. Великолепно ухоженный сад со множеством фруктовых деревьев заканчивался полосой стройных голубых елей.

Маффи и Нидл подошли к Шельбауму. Анна вернулась в дом.

— Как все это выглядит изнутри, мы теперь знаем, — сказал Нидл. В его замечании звучал вопрос: «Что мы, собственно, здесь ищем?»

Шельбаум пока и сам не знал, чего он ищет. Шарф, которым была задушена Дора Фридеман, принадлежал ее мужу, а муж покончил самоубийством. Дело было однозначно, по-видимому, слишком однозначно. Но где это было видано, чтоб все было таким очевидным? Они еще раз прошли из коридора в гостиную, осмотрели террасу и столовую. В крыле здания был рабочий кабинет Фридемана, а напротив — спальня его жены. На втором этаже располагались: музыкальный салон с балконом, спальня Фридемана, две гостиные и две ванные комнаты. На третьем этаже находилась мансарда, где жила Карин.

Следовательно, супруги Фридеман спали в разных комнатах. Но в этом не было ничего особенного. Шельбаум потер подбородок.

— Я хотел бы еще раз побеседовать с экономкой, — сказал он. — Позовите ее в столовую, Маффи.

Хеттерле появилась с видимой неохотой.

— Судя по вашим показаниям, вы не немка, фрейлейн Хеттерле, — дружеским тоном спросил обер-комиссар. — Откуда вы родом?

— Я родилась в Кримау, в Чехословакии, — ответила она неохотно. — В 1948 году приехала в Вену.

— Свои личные документы вы потом сдадите моему сотруднику, — сказал Шельбаум, указывая на Маффи, который сидел рядом и вел протокол допроса. — Меня интересует ваше отношение к господину Фридеману. Вы испытывали иногда неприятности?

Хеттерле утвердительно склонила голову.

— Вас оскорбляли и действием?

Хеттерле медлила, но не могла отрицать того, что уже сказала.

— Редко, — ответила она.

— Как он относился к своей жене?

— Иногда он ее избивал, а она, естественно, защищалась.

Обер-комиссар обстоятельно высморкался в носовой платок.

— О предполагаемом любовнике Доры Фридеман вы действительно ничего не знаете?

Хеттерле покачала головой.

— Хорошо ли относилась фрейлейн Карин к своему дяде и своей тетушке?

— О плохом не знаю.

От дальнейшего допроса Шельбаум отказался. Она не относилась к типам, раскрывающимся легко. Но явно не была и человеком, за которым ничего не числилось. Он отпустил ее и попросил послать к нему Карин Фридеман.

— Как вы ее находите, Маффи?

— Не совсем чистой, господин обер-комиссар.

— Я тоже, — согласился Шельбаум. — Будьте внимательны при допросе, когда она принесет свои личные документы.

Он дал ему некоторые советы.

— Жаль, что вы в последнюю ночь не были достаточно бдительны, — закончил он.

— Вчера я был на службе, — сказал Маффи, — и очень устал...

Шельбаум рассмеялся.

— Но не только от службы.

— Господин обер-комиссар, я охотно бы...

— Уж не хотите ли вы извиняться? — прервал его Шельбаум. — Не считайте меня за дурачка, который упрекает вас за ваш образ жизни. Вы молоды, и я могу только позавидовать вам. Хороша ли девушка-то, по крайней мере?

— Очень, господин обер-комиссар, — вспыхнул Маффи.

— Тогда отнеситесь к этому делу серьезно, — сказал Шельбаум, — как того заслуживает малыш. Так, она слышала, как кричала женщина?

— Да.

— А дальше?

— Она разбудила меня. Я вышел в сад, но, ничего не заметив, вернулся в дом. На улице было прохладно, а я был...

— ...очень уставшим. Во всяком случае, больше ваша подружка ничего не слыхала?

— Нет, иначе она бы мне сказала.

— Мы с ней побеседуем отдельно, даже если это и не принесет пользы, — сказал Шельбаум. — По-видимому, это мог быть только крик фрау Фридеман, когда ее душили.

Карин Фридеман была серьезна и бледна, но без особой скорби в лице. Следом за ней появился инспектор и сказал:

— В коридоре ожидает молодой человек, который непременно хочет зайти сюда, к этой молодой даме. Это некий господин Ланцендорф.

— Мой жених, — быстро сказала Карин.

— Пусть войдет, — распорядился Шельбаум, и Нидл впустил Ланцендорфа.

— Даже если вы с ней обручены, то все равно ведите себя спокойно, — предупредил его обер-комиссар. — Мы ее не съедем.

Юноша удивленно взглянул на Карин. Слабо улыбнувшись, она кивнула ему, и лишь тогда он успокоился. Шельбаум достал из коробки сигару и закурил. «Довольно быстрое обручение, — подумал он. — Но, возможно, оно состоялось уже давно».

— Известно вам, что здесь произошло? — спросил он Ланцендорфа.

Петер утвердительно кивнул. Об этом он слышал от людей на улице.

— Хорошо, — сказал Шельбаум. — Тогда я хотел бы спросить вас, фрейлейн Фридеман. Почему не действовал звонок, когда наш коллега сегодня утром хотел войти в дом? Вы очень напугались, увидев его?

— Мой дядя имел обыкновение отключать звонок на ночь, — ответила Карин. — По-видимому, он и вчера поступил так же, когда ушел последний гость. А напугалась я потому, что...

— Потому что вы приняли его за убийцу, не так ли?

Она утвердительно кивнула и бросила на Маффи виноватый взгляд.

— Вы венка?

— Нет, я родилась в Гантерне, в Тироле.

— Когда умерли ваши родители?

— Отец умер еще до моего рождения, а вскоре и мать, — тихо ответила Карин.

— Господин и госпожа Фридеман были вашими единственными родственниками?

— Да.

— Вы воспитывались у них?

— Нет. Община Гантерн отправила меня в детский дом в Инсбруке. Оттуда меня забрал дядя, когда мне исполнилось семь лет. Я была помещена в школу-интернат в Граце, где и пробыла до получения аттестата зрелости. В Вену я приезжала только во время каникул.

— Вы были привязаны к дяде?

— Он очень много сделал для меня. За это я ему буду вечно благодарна.

— Как складывались ваши отношения с тетужкой?

— Мы ладили друг с другом.

— С обоими вы не испытывали никаких трудностей?

— Нет!

Шельбаум заметил некоторое беспокойство на лице Ланцендорфа. Он потушил сигару в пепельнице, которую держал на весу, подошел к столу, поставил на него пепельницу и сдвинул лист бумаги, которым было что-то прикрыто.

— Все, что вы здесь видите, находилось в карманах вашего дяди, — сказал он. — Что вы знаете о назначении этих ключей?

Карин встала и взяла в руки связку.

— Это ключ от дома... Этот от конторки... Там стоит сейф, от него должен быть этот... Вот от стенового шкафа... Этот от гаража... Этот подходит к письменному столу... Да, а вот этот от садовой калитки.

— А маленький? — Шельбаум поднял вверх ключик, который лежал отдельно от связки.

Карин покачала головой.

— Наверное, от денежной шкатулки... Впрочем, не знаю.

Обер-комиссар положил ключ на место и пристально посмотрел на нее.

— Вы сказали нам всю правду, фрейлейн Фридеман? — спросил он. — Вы ничего от нас не утаиваете?

Девушка занервничала. Ланцендорф бросил на Шельбаума возмущенный взгляд, но промолчал.

— Ничего, — ответила Карин.

Шельбаум отвернулся.

— Можете идти, — коротко бросил он. — Все эти штуковины заберем с собой, Алоис. Что касается ключей, то установим после, к чему они подходят. По некоторым соображениям я бы не хотел сегодня заниматься этим. Для вас, Маффи, у меня есть особое поручение. Сегодня вечером вы...

Инспектор Нидл слушал с возрастающим удивлением.

— Я не понимаю, — сказал он. — Я еще никогда не встречал такого ясного случая. Убийство и самоубийство, другого варианта нет. А вы даете такое поручение...

— Не все ясно в этой истории, — сердито произнес Шельбаум. — Вы ведь, Маффи, видали самоубийц?

— Многих, — сказал Маффи.

— Как они были одеты?

— Одеты? Ну, скажем, в брюках, рубашках, ботинках...

— В рубашках, потому что не хотели, чтобы им что-то мешало, — с нажимом произнес Шельбаум. — А наш самоубийца был одет в замшевую куртку, как будто он вышел погулять. Я нахожу это довольно странным. Не в меньшей мере и то, как он все это подготовил.

Нидл был озадачен. Не тем, что в данном случае казалось Шельбауму странным, а его упорством. Прежде чем он успел что-то произнести, вошел полицейский, несший охрану у дверей, и доложил:

— Здесь одна из участниц вчерашней вечеринки, господин обер-комиссар. Фрау Ковалова. Она хотела бы с вами переговорить.

— Зови, — приказал Шельбаум недовольным тоном. — Возможно, она нам что-то расскажет.

В дверь протиснулась массивная фигура Коваловой.

— Собственно, я пришла к Карин Фридеман, надо же утешить бедное дитя, — начала она. — Однако потом я удивилась, откуда он все это знает?

— О ком вы говорите?

— О господине Деттмаре. Сегодня утром он позвонил мне...

* * *

На светящемся циферблате дорожного будильника стрелки показывали без десяти два ночи. «Начну ровно в два, — решила Хеттерле, — ни секундой раньше». Она жадно затянулась сигаретой. Рдеющий ее кончик отбрасывал слабый отблеск на кошку, которая мирно спала на подушечке у окна. Ее подозревают? Если поняли, из-за чего она в действительности получила пощечину от Фридемана, то здесь нет ничего плохого. Наоборот, молчание может быть истолковано в ее пользу. Но этот молодой чиновник из уголовной полиции так тщательно записывал ее биографические данные. Не нащупал ли он слабое место? Кажется, нет. Пока все идет нормально. Скорее всего ее просто мучают кошмары. Надо надеяться на лучшее. А если повезет, то она непременно вернет себе то, что много лет приковывало ее к Фридеману.

Где он «это» спрятал? В письменном столе или в стенном шкафу? Или, может, хранил в конторке? Если «это» лежит в конторке, то дело безнадежное, надо иметь от сейфа второй ключ. Но, возможно, он ее и не опасался, тогда вполне надежным ему представлялся даже письменный стол. Со столом-то она справится. Хеттерле потрогала небольшую стамеску в кармане своего фартука.

Минутная стрелка достигла цифры двенадцать. Она быстро встала и потушила сигарету. Включила карманный фонарик. Свет отразился в широко открытых глазах кошки. Уходя из комнаты, Хеттерле проследила за тем, чтобы Пусси опять не прошмыгнула мимо нее.

Она тихо вышла из садового домика. Светила висевшая на небе полная желтая луна, и голубые ели отбрасывали длинные тени. Она настороженно оглядела оба соседских участка. Ничто не нарушало тишины. Перепуганная Карин, конечно, оставалась в своей комнате.

Хеттерле осторожно двинулась по узкой тропинке к дому и вошла в подвальный переход. Когда достигла лестницы, ведущей в зал, услышала шорох. Она остановилась и прислушалась. Ни звука. Кругом царил абсолютная тишина. Она поднялась наверх и открыла дверь в пустой и мрачный зал.

Мгновение она напряженно вслушивалась, не проснулась ли Карин, потом бесшумно проскользнула в коридор, ведущий в спальню Доры. Рабочий кабинет Фридемана, расположенный напротив, был не заперт. Здесь стоял письменный стол, книжный шкаф, а по правую руку группа кресел, на которых прошлой ночью сидели гости Фридемана, игравшие в карты. На стене висела картина «Весенний пейзаж». Быстрыми шагами она подошла к письменному столу. Все ящики были заперты, но имеющейся у нее стамеской она легко вскрыла их. Письма, формуляры, вырезки из газет, и ничего более. Она еще раз проверила все сверху донизу и снова ничего не нашла.

Тогда Хеттерле подошла к стене и сняла картину. Под ней оказалась дверца стенного сейфа. В лихорадочном возбуждении она начала искать ключ. В письменном столе его не было. Возможно, он лежит в шкафу, рядом с дверью? Она бессмысленно рылась в шкафу и вдруг с криком отскочила. Кто-то включил свет. Смертельно перепуганная Хеттерле увидела Эдгара Маффи.

— Интересно, фрейлейн Хеттерле, — сказал он холодно. — Что вы здесь делаете?

— Ничего, — сказала Хеттерле, приходя в себя. — Выпустите меня. — Она попыталась, оттолкнув его, проскользнуть в дверь.

Маффи схватил ее за руку, подвел к письменному столу и усадил на стул. Наручники не надел. Подвинув к себе телефонный аппарат и не спуская с нее глаз, набрал номер отдела полицейской дирекции.

— Она здесь, господин Нидл, — сказал он, услышав ответ. — Пожалуйста, доложите обер-комиссару.

* * *

Двадцать минут спустя Шельбаум и Нидл были на вилле Фридемана. Они не ждали, пока им откроют, — ключ от входной

двери у них был. Карин была разбужена шумом в доме. Накинув пальто поверх пижамы, она спустилась в кабинет, где уже были Шельбаум и Нидл.

— Вы знаете, что она искала? — спросил обер-комиссар.

— Она не желает со мной разговаривать, — ответил Маффи. — Возможно, вам она скажет.

— Я предполагал, что предпримете нечто подобное, — сказал Шельбаум, обращаясь к ней. — Паспорт, который вы предъявили нашему сотруднику, оказался в порядке. Но вот старая контрольно-учетная карточка выдана не районным отделением полиции в Видене. Она подделана.

Он постучал костяшками пальцев по крышке стола.

— Что вы искали в этой комнате?

Хеттерле, точно окаменев, продолжала молчать.

Шельбаум обратился к Карин.

— Мы имеем ордер на обыск виллы и сада. Но не думаю, что нужно обыскивать все и вся. Пока достаточно ограничиться этой комнатой, спальней хозяина и квартирой фрейлейн Хеттерле. Правда, сейчас не особенно благоприятное время для обыска, — продолжал Шельбаум, — но здесь и в комнате фрейлейн Хеттерле я все же хотел бы начать немедленно. Попытайтесь, Маффи, подыскать среди соседей двух понятых.

Нидл смотрел на Шельбаума с чувством огромного уважения. Да, у Шельбаума тонкий нюх. По его теории, перед ним был человек, а именно Хеттерле, который годами мирился со сложившимися обстоятельствами. Но коль скоро шантажист был мертв, она должна была попытаться как можно скорее привести в порядок свои дела, прежде чем возникнут новые осложнения. Вот почему Шельбаум дал задание Маффи спрятаться ночью на вилле.

Минут через десять Маффи вернулся с двумя мужчинами. Шельбаум пояснил им их обязанности. Затем взял связку ключей, извлеченную из карманов покойного, и открыл сейф.

В сейфе были различные бумаги, а также довольно значительные суммы денег в австрийских шиллингах и западногерманских марках. Перебирая бумаги, Шельбаум обнаружил конверт. Он вскрыл его и вынул регистрационный бланк. В первые годы после войны такие бланки заменяли удостоверения личности в американской зоне оккупации Германии.

— Вы искали это, — сказал он Хеттерле. — Как любезно со стороны вашего хозяина, что он сохранил здесь ваши настоящие документы, фрейлейн Бузенбендер.

Хеттерле устало опустила голову.

* * *

Инспектор Нидл вышел в коридор и взял трубку.

— Ах это ты, Вапек. Так, где горит?... Любопытное дельце, — сказал он, услышав новость. — Проникли в кредитное бюро Фридемана? И ничего не похитили? Ну хорошо, что сообщили мне. Кого вы послали туда с Леопольдгассе?

На Леопольдгассе размещался полицейский комиссариат второго округа.

— Хундлингера? — Он знал участкового инспектора Хундлингера. Последний обладал сказочным талантом не замечать следы преступлений или же стирать их.

— Да, да, немедленно вышлите за мной машину. Конечно, Хундлингер будет недоволен, но мы постараемся не вмешиваться.

Через десять минут автомашина уже стояла перед кафе. Они проехали вдоль Дунайского канала, пересекли Аспернбрюкке и остановились на Пратерштрассе.

Нидл пересек улицу и исчез в доме. На втором этаже собрались любопытные, которых полицейский не пускал дальше коридора. Дверь в комнату была полуотворена, и оттуда слышались голоса. Нидл вошел. В помещении находились трое: Хундлингер, молодой неизвестный ему чиновник и пожилая женщина в очках с толстыми стеклами. Женщина находилась в крайнем возбуждении.

— Кое-что украдено! — воскликнула она. — Что поделаешь, если я только теперь это заметила...

Хундлингер, услышав, что кто-то вошел, обернулся.

— Что надобно здесь уголовной полиции? — спросил он недовольным тоном. — Здесь всего лишь мелкая кража со взломом. Вы ведь этим не занимаетесь?

— Кредитное бюро принадлежит человеку, труп которого нашли вчера на берегу Старого Дуная, — сдержанно ответил Нидл. — Его жена также умерла неестественной смертью.

Женщина заплакала. Красное лицо Хундлингера покраснело еще больше.

— Я не нуждаюсь в ваших поучениях. Здесь речь идет о краже со взломом, а это относится к нашей компетенции.

— Согласен, — быстро сказал Нидл. — Все, что не связано со смертью супругов Фридеман, меня не интересует. Согласны с таким предложением?

Хундлингер неохотно кивнул.

— Каким образом проникли преступники? — спросил Нидл.

— Через дверь, — грубо ответил Хундлингер. — Фрау обратила внимание, что дверь не заперта.

Нидл повернулся к женщине.

— Вас не было вчера в бюро?..

Женщина еще раз всхлипнула и утерла слезы.

— Моя фамилия Цигенхальс, — застенчиво произнесла она. — Вчера у меня был нерабочий день. После празднеств у господ Фридеман мы имели право на следующий день не работать. Но кто же мог знать...

Она вновь заплакала.

— Как была взломана дверь? — спросил Нидл участкового инспектора.

— Взломана? — повторил Хундлингер. — Она вовсе не была взломана. Негодяй имел подобранный ключ.

Нидл был потрясен беззаботностью, с которой Хундлингер вел дознание. Он пошел к двери и осмотрел замок. В отверстии он заметил едва видимый, прозрачный, точно из стекла, осколок.

— Он работал с целлюлозной пленкой, — сказал Нидл. — Дверь дома была заперта?

— Нет, — ответила женщина, прекратив всхлипывать. — Дворник сегодня утром уже обратил на это внимание.

— Тогда все случилось прошлой ночью, и дверь дома была открыта тем же способом, — сказал Нидл. — С таким замком справится и ребенок. Что украдено?

Фрау Цигенхальс подошла к этажерке и указала на пустое место в ряду папок.

— Нет папки «28Т-У», — сказала она.

— И только? — Нидл посмотрел на нее с недоверием.

Хундлингер заложил руки в карманы пальто.

— И из-за такого пустяка они подняли на ноги полицию, — проворчал он.

Не обращая на него внимания, Нидл обратился к молодому чиновнику:

— Вы обнаружили отпечатки пальцев?

— Тысячи, — сказал молодой человек. — Полным-полно. Большинство ее. — Он кивнул в сторону женщины. — Но были и другие. Я не знаю, имеет ли смысл...

— По-видимому, нет, — сказал Нидл. — Но парочку снимите. Все остальное цело? Деньги, бумаги?..

— Думаю, что да, — сказала женщина. — Правда, у меня нет ключа от сейфа, но ведь он не поврежден...

Нидл подумал, что это еще не доказательство, но лишь спросил:

— Что было в папке?

— Переписка.

— С кем?

— В основном с ССА.

— О чем же переписывалось бюро с этой организацией?

— Доверие — основа нашего дела, — сказала Цигенхальс. — Мы не можем...

— Но поскольку папка украдена, — прервал ее Нидл, — вы никакой тайны не выдаете. Можете спокойно рассказывать.

Этот аргумент показался Цигенхальс убедительным, и она сказала:

— ССА иногда обращался к нам за кредитами, и господин Фридеман в меру своих сил стремился удовлетворять просьбы.

— Вам известны подробности?

— Нет. Последний раз речь шла о типографии, остальное я не помню...

Нидл был недоволен. Он никак не мог уловить, почему была украдена такого рода переписка. Очевидно, содержимое железного сейфа внесло бы ясность, но сейфом сейчас он заниматься не мог.

* * *

Обер-комиссар Шельбаум заглянул в комнату, где работали Нидл и Маффи, и сказал:

— Зайдите ко мне. Есть кое-что интересное.

Когда они вошли в его кабинет, он уже сидел за письменным столом и доставал сигару из деревянного ящичка. Маффи поднес зажигалку, Шельбаум откинулся и с наслаждением закурил.

— Сегодня утром я был в известном магазине на Таборштрассе, — сказал он, подмигивая Маффи. — Уж очень нужен был мне новый галстук. Полагаю, вам также известен этот магазин. Маффи сник в смущении.

— Неплохой магазин, — сказал обер-комиссар, любовно рассматривая галстук. — Я имею в виду ваш магазин, Маффи. Жаль, что я не молод.

— И женат, — сухо добавил Нидл.

— И это тоже, — смеясь, согласился Шельбаум. — Во всяком случае, все было так, как вы рассказывали. Большого ваша подружка не знает.

Он посмотрел в окно на фасад стоявшей напротив полицейской тюрьмы.

— В нашей профессии, к сожалению, мало такого, чему можно было бы радоваться, — произнес он меланхолично. — Не лишай-те себя этого малого, Маффи.

Юный криминалист в ответ пробормотал нечто невнятное.

— Есть известия о нашем друге Деттмаре? — спросил Шельбаум.

— Транспортная полиция обнаружила его автомашину на Лейштрассе, — сказал Маффи. — Известно, что он живет в отеле «Штадт Лини».

— Что предпринято?

— Отель под наблюдением, — ответил Нидл.

— Хорошо, — сказал обер-комиссар. — Этим мы займемся потом. Какие еще новости?

— Прошлой ночью совершена кража со взломом в кредитном бюро Фридемана, — добавил Нидл и рассказал о своем визите.

Шельбаум поскреб свой двойной подбородок.

— Потом посмотрим, что в сейфе. На всякий случай поставим вопрос о конфискации, даже если это и окажется бесполезным. Несомненно, самое важное было в этой папке.

— Но почему ее держали совершенно открыто на этажерке? — спросил Нидл.

— Потому что она не имела значения, пока Фридеман был жив, — сказал Шельбаум. — Лишь смерть Фридемана сделала ее опасной.

— Для кого?

— Если бы я это знал. Все же переписка с ССА...

— Вы полагаете, здесь замешана политика? — ошеломленно произнес инспектор.

— Пока я не знаю. Возможно, в ней вся суть дела. Для меня теперь совершенно ясно, что...

Он осторожно положил сигару на край пепельницы и попеременно посмотрел то на одного, то на другого.

— ...Дора Фридеман была убита не своим мужем, — произнес он медленно.

От неожиданности лицо Маффи приняло глуповатое выражение.

— Я был в отделе экспертизы уголовной полиции, — сказал Шельбаум. — Следы на дверной ручке спальни соответствуют отпечаткам пальцев Доры Фридеманы. Под ними обнаружены другие, но Дора, кажется, держала ручку последней.

— Что значит «кажется»? — спросил Нидл.

— Отпечатки были слегка стерты.
— Экономка или племянница... — начал было Нидл.
— Нет, — возразил Шельбаум. — Дверь была лишь притворена. Ее можно было толкнуть, не касаясь ручки. И обе, как они нас заверили, этого не делали.

— Почему это не мог быть Фридеман?..

— По всей очевидности, убийца был в перчатках, которые и стерли следы, — сказал Шельбаум. — Если кто-то убивает, а затем кончает с собой, тот в перчатках не нуждается. Разве вы заметили перчатки на покойном?

— Я не могу с вами согласиться, — возразил Нидл. — Дора Фридеман была в халате, когда ее обнаружили. Следовательно, она сама впустила убийцу. Ему не надо было хвататься за дверную ручку. А когда он уходил, то только притворил дверь. Он мог ее закрыть, не касаясь пальцами...

— Неплохо, — сказал Шельбаум. — Каким же образом были стерты отпечатки?

— Наверное, их коснулся халат.

Обер-комиссар рассмеялся.

— Ответ ниже ваших способностей, Алоис. Следы существенно отличаются друг от друга, когда их касается халат или когда ручку двери хватает рука в перчатке. Придумайте что-нибудь получше. — Он посмотрел на часы. — Начнем допрос Хеттерле, или, точнее сказать, Бузенбендер. Магнитофон в порядке?

— В порядке, — подтвердил Нидл.

Маффи вышел и быстро вернулся с Бузенбендер и полицейским.

— Не ждите ее, господин Зайц. Я позвоню, — распорядился Шельбаум, указывая женщине на стул перед письменным столом. Нидл сел слева, он работал с магнитофоном. Место позади занял Маффи, вооружившись блокнотом для стенографирования.

— Если хотите, чтобы я отвечала, — начала женщина, — отошлите этого. — Она кивнула в сторону Маффи.

— Он вам несимпатичен? — спросил Шельбаум.

— Он слишком молод, — послышался ее странный ответ.

Шельбаум задумчиво посмотрел на нее. Затем сказал:

— Маффи, выйдите, пожалуйста.

Маффи молча покинул комнату.

Обер-комиссар раскрыл папку.

— Здесь у меня все ваши документы. Как те, которые вы хранили в садовом домике, так и те, которые были в сейфе Фридемана. Назовите вашу настоящую фамилию.

— Эдельгард Бузенбендер.

— Год и место рождения?

— 26 ноября 1925 года. Виттенберг, Чехословакия.

— Ныне Вимперк, — заметил Нидл, который в географии был более сведущ, чем в политике.

— Ваша профессия?

Бузенбендер медлила.

— В анкете записано: учащаяся, — сказал Шельбаум. — Следовательно, вы сдали экзамен на аттестат зрелости?

— Да.

— Вы должны были его сдать в 1944 году, — сказал Шельбаум. — Что вы делали до конца войны?

Бузенбендер тяжело вздохнула.

— Я была рингфюрерин в Союзе немецких девушек*.

В голосе обер-комиссара почувствовался холодок.

— Какие обязанности вы выполняли?

— Я отвечала за призыв девушек на военную службу.

— Вы оставались там до конца?

Бузенбендер заколебалась.

— В конце апреля 1945 года я уехала в Баварию.

— Одна?

— Меня взял с собой крайстайтер**.

Шельбаум покачал головой. Он подумал о том, как сам провел последние месяцы войны.

— Вы не смеете издеваться надо мной! — дико закричала Бузенбендер. — Да, я была его любовницей! Иначе он не спас бы меня от чехов.

— От чехов? — мягко спросил Шельбаум. — Если вас надо было спасать, значит, вы вели себя не совсем так, как требовалось, чтобы заслужить расположение населения...

Бузенбендер молчала.

— Итак, вы уехали в Баварию, — продолжал Шельбаум. — Что было потом?

— Они меня изнасиловали, — жестко сказала она.

— Кто «они»?

Она пожала плечами.

— Я их не знаю. Немецкие солдаты.

Нидл смотрел на крутящиеся катушки магнитофона. На лице Шельбаума отразилась глубокая печаль. «Это была эпоха коричневых, — думал он. — Она лишила молодых всего человеческого, превратила их в бессловесных тварей, а когда наступил конец, им никто не помог, а, наоборот, толкнул их в дерьмо, в грязь».

— Потом пришли американцы и посадили меня в лагерь для интернированных, вблизи Штаубинга. Ночью меня вызывали, и я должна была развлекать их за кусок хлеба или пару сигарет. Если я противилась, то меня били.

Шельбаума переполняло чувство гнева, чувство омерзения. Как ни была виновата эта женщина, она имела право на человеческое достоинство, а ей в этом отказывали все. Ясно, почему она не пожелала отвечать в присутствии Маффи.

— Спустя три месяца меня освободили, — продолжала Бузенбендер. — И я уехала в Мюнхен.

Обер-комиссар вздохнул.

— В Австрию вы прибыли лишь в 1948 году, как следует из этих документов. Или это не так? Вы ведь все подделали...

— Нет, это так, — горестно рассмеялась Бузенбендер. — И вы хотели бы знать, что я делала три года. Вы сами не догадываетесь? Мне не оставалось ничего другого, кроме панели. На Ландсбергерштрассе всегда можно было заработать на кусок хлеба.

— Зачем понадобились вам фальшивые документы, которыми снабдил вас Фридеман?

* СНД — женская молодежная организация, существовавшая в гитлеровской Германии и организованная по военному принципу. Рингфюрерин — одна из руководящих должностей.

** Крайстайтер — руководитель районной организации фашистской партии.

— Разве и это непонятно? Я хотела начать заново, все заново. Я хотела попытаться стать человеком...

— Для Фридемана? — спросил Шельбаум. — С мужчиной, который вас избивал? — Понизив тон, он добавил: — Обижал вас, как и те, другие?

Бузенбендер не возражала. Она выглядела некрасивой, эта женщина со шрамом, который, как кроваво-красная рана, пересекал ее измученное лицо. У Шельбаума шевельнулось чувство сострадания. Она также принадлежала к жертвам, которые не смогли найти верного пути. Что-то должно быть еще, о чем она умалчивает, — причина, по которой она приняла чужую фамилию, представлялась ему неосновательной, поскольку в Австрии ее никто не знал. Он перевел взгляд на Нидла, возившегося с магнитофоном. Из опыта знал, что сейчас нет смысла продолжать допрос. Она должна успокоиться. Возможно, она не имеет ничего общего со смертью супругов Фридеман, однако не исключено, что через нее можно напасть на верный след.

Он нажал стоп-клавишу магнитофона.

— Позвоните в тюрьму, Маффи. Пусть заберут ее обратно.

Нидл перематывал пленку. Шельбаум положил в папку документы, настоящие и подложные: свидетельство о рождении, свидетельство о крещении, конфирмационную грамоту, водительские права, контрольно-учетную карточку и все прочее, что они обнаружили.

Наконец женщину увели.

— Маффи, телеграмму в Мюнхен, земельному управлению по уголовным делам, — распорядился Шельбаум. — Надо узнать, числится ли что-нибудь за Бузенбендер.

Маффи записал задание. Затем он сказал:

— На улице вас ожидает мужчина, господин обер-комиссар. У него украли автомашину.

— По-видимому, он ошибся адресом?

— Не думаю, — сказал Маффи. — Это владелец отеля «Штадт Линц». На его автомашине бежал Деттмар...

* * *

Дверь в гостиную «Золотого якоря» распахнулась, чтобы пропустить Кёрнера. На сей раз на нем был костюм сизого цвета, с которым гармонировал коричневый галстук-бабочка. В руках у него была черная кожаная сумка. В гостиной уже битых два часа его ждал Ритцбергер, который успел перепробовать все меню старика Паровского.

Кёрнер уселся напротив него, положив сумку на стол.

— Привет, — сказал Ритцбергер, скосив взгляд на черную сумку.

— Это было не так просто, как вы расписывали. Важно также знать, где приходится работать.

— Об этом я вам говорил, — равнодушно сказал Ритцбергер.

— Не все, — возразил Кёрнер с ударением и сдунул пылинку со своего рукава. — Я не знал, кому принадлежит заведение.

— Это имеет для вас значение?

— Огромное! Знай я об этом раньше, я бы не попал в историю с двумя трупами.

— Вы?..

— Да! Я увидел газету лишь сегодня утром.

— Но ведь дело выяснено, — успокаивал его Ритцбергер. — Убийство и самоубийство. Никого не впутывают.

— А почему полиция разыскивает Деттмара? Нет, здесь не все чисто.

— Не болтайте чепухи, — резко сказал Ритцбергер. — Вы легко заработали свои три тысячи шиллингов. Давайте-ка сюда папку.

Кёрнер не поверил своим ушам.

— Что? Три тысячи? Разве мы не договорились о пяти?

— Вы, должно быть, ослышались, — холодно произнес Ритцбергер. — Три тысячи. Это более чем достаточно.

Он схватил сумку, но Кёрнер вырвал ее. Ритцбергер встал и обошел стол.

— Папку сюда, — тихо сказал он.

Кёрнер тоже поднялся и спрятал сумку за спину. Он понял, что Ритцбергер намерен заполучить сумку любой ценой, и подумал, что в драке он ему уступит.

— Фердл, — хрипло крикнул Кёрнер.

Дверь распахнулась, и на пороге вырос двухметровый великан весом в полтора центнера. Вчера Ловкому стоило больших трудов разыскать Фердла-Оплеуху, который отвечал за порядок во время азартных карточных игр.

— Кто-то звал меня? — спросил великан угрожающе.

Ритцбергер резко остановился.

— Что надо этому парню? — Тягаться с Фердлом он явно не мог и сразу понял это.

— Жди на улице, Ферди, — сказал Кёрнер.

Великан исчез. Вскоре его грубое глуповатое лицо замаячило в окне.

— Вы хотели зажать мои две тысячи, — с ненавистью произнес Ловкий. — Но я вас накажу: десять тысяч, или папка остается у меня.

— Вы что, спятили? — взорвался Ритцбергер. — За этот ничего не стоящий хлам?

— Ничего не стоящий? Прочитав газеты, я позволил себе пориться в этом хламе и знаю ему цену. Теперь условия диктую я.

О деловых контактах Ловкий имел довольно смутное представление. Но у него хватило ума, чтобы разобраться, по поводу чего велась переписка. В одном письме речь шла о типографии, находившейся на грани банкротства. Чтобы не затягивать издание «пропагандистских брошюр» относительно якобы запланированного коммунистического переворота в Австрии, ССА поручил Фридеману принять на себя заботы по финансовому оздоровлению предприятия. В другом — член землячества судетских немцев обвинялся в военных преступлениях. ССА требовал от Фридемана подобрать ему защитника. И так далее. Папка с документами однозначно характеризовала лицо этой коричневой организации, которая, чтобы не обнаруживать себя перед общественностью, осуществляла сделки через кредитное бюро. Если

этот материал станет достоянием общественности, то разразится немалый скандал.

Некоторое время Ритцбергер молча рассматривал Ловкого.

— Послушайте, — сказал он наконец. — Я готов доложить две тысячи... Таким образом, всего будет пять, даже если о них никогда не было речи. Но на большее я пойти не могу.

Ловкий крепко прижимал сумку, наслаждаясь своим торжеством.

— Десять тысяч, — сказал он, и его зеленые глаза мстительно засверкали. — И ни одним шиллингом меньше. Если бы вы не пытались обмануть меня, я удовлетворился бы и пятью.

— У меня нет десяти, — холодно сказал Ритцбергер.

— Вам не повезло, — злорадствовал Кёрнер. — В этом случае вы не получите папку.

— Следовательно, мы не можем договориться? — спросил Ритцбергер.

— Только если вы уплатите десять тысяч шиллингов.

Ритцбергер направился к двери.

— Не потеряйте папку, — предупредил он Ловкого. — Куда вам звонить?

— Звоните в «Якорь», но только до обеда.

Фердл-Оплеуха появился сразу, едва ушел Ритцбергер.

— С тебя сто шиллингов, — произнес он своим глухим голосом.

Ловкий испытывал почти физическую боль, расставаясь с кредитным билетом. Однако он был твердо уверен, что расходы окупятся.

— Ты не хочешь заработать еще? — спросил он.

* * *

На звонок Шельбаума дверь открыла горничная Анна. Она привела его в комнату, где Карин гладила белье. Он поздоровался с ней и извинился за беспокойство.

— Вы потеряли своих единственных родственников, фрейлейн Фридеман, — начал он осторожно. — Что вы думаете делать дальше?

Она подняла утюг и попробовала, не остыл ли он. Затем их взгляды встретились, и в глубине ее больших серых глаз он заметил растерянность.

— Я хочу учиться в Граце, — сказала она спокойным тоном. — Почему мое желание должно измениться?

— Конечно, нет, — согласился он. — В особенности если вы обеспечены материально.

— Я получила от моего дяди немного денег. На первое время хватит, а потом...

— Потом?

Она отставила утюг.

— Господин обер-комиссар, — сказала она недовольным тоном. — Я не знаю, почему вас это так интересует. По-видимому, я должна вступить в права наследования и освободить вас от забот обо мне.

Шельбаум покачал головой.

— Не знаю, как скоро это получится... Вам придется ждачь до окончания следствия. Если вы попадете в трудное положение, суд может принять решение о выплате вам незначительной суммы. Но я бы на это не рассчитывал.

— До этого не дойдет, — возразила Карин. — Фрау Ковалова обещала помощь, да и господин Фазольд тоже.

— У вас уже был господин Фазольд?

— Да, сегодня утром. — Она что-то вдруг вспомнила. — Между прочим, случилось нечто любопытное. Господин Фазольд еще вчера утром узнал о... о несчастье, когда он был у фрау Коваловой. Ей позвонили...

— Да, об этом она и нам сказала. От этого Деттмара, который исчез.

— Деттмара? — повторила Карин. — Нет, в присутствии Фазольда она утверждала, будто ей позвонила я.

— Вы? — Шельбаум подался вперед.

— В этот момент я вообще о ней не думала, — продолжала Карин. — Под присягой могу заявить, что это была не я.

— Как она объяснила свое появление у вас?

— Об этом мы не говорили.

— Вы сообщили господину Фазольду, что это звонили не вы?

— Естественно. — Карин обеспокоенно посмотрела на него. — Я не знаю, что и подумать об этом. Господин Фазольд рассердился и даже ругал фрау Ковалову. Мне думается, что в таких случаях нельзя поступать так легкомысленно.

— Не мог ли господин Фазольд перепутать? — спросил Шельбаум. — Возможно, фрау Ковалова действительно имела в виду господина Деттмара.

— Мне не показалось. Но я плохая хозяйка, — сказала она и поднялась. — Позвольте предложить вам чашечку кофе? Я и сама охотно выпью.

Она прониклась симпатией к обер-комиссару. Последние два дня были наполнены тревогой. Разговоры с Анной не приносили ей удовлетворения, Петер же целыми днями работал в институте.

Шельбаум не отказался.

Она вышла. Шельбаум достал из кармана фотографию и принялся ее рассматривать. Когда Карин вернулась через несколько минут, он что-то записывал в свой блокнот.

Налив кофе, Карин взяла фотоснимок.

— Что это такое?

Шельбаум сделал маленький глоток.

— Всего лишь причальные мостки. На досках пятна краски. Поскольку ваш дядя одним ботинком наступил на желтую краску, то она оказалась и на досках. Мы сфотографировали эти следы.

— Для чего?

— Они могут дать представление о последних мгновениях жизни вашего дяди, — ответил Шельбаум. — Но здесь я заметил нечто такое, что не совсем понимаю...

Карин посмотрела на него вопросительно.

— В конце мостков шаги его слишком широки, — сказал Шельбаум

— Что это значит?

— Сам не понимаю, — рассеянно ответил Шельбаум. — У вас нет рулетки, фрейлейн Фридеман? Я хотел бы еще раз произвести замер.

— Конечно, есгь, в моей шкатулке для рукоделия. Я сейчас принесу. Позвольте вас сопровождать?..

Шельбаум отечески рассмеялся.

— Если вы не слишком возбуждены...

— Где же лодки? — спросил обер-комиссар, когда они спустились к Старому Дунзю.

— Сегодня утром садовник отогнал их на лодочную станцию.

Они прошли на мостки. Несмотря на множество любопытных, побывавших здесь, следы краски были еще заметны. Шельбаум замерил расстояния между пятнами и сравнил их с цифрами, напечатанными на фотоснимке. Они совпадали.

— Все точно, — мрачно сказал он. — Свою работу они выполнили добросовестно.

Когда они поднимались вверх к вилле, Шельбаум размышлял над проблемами, которые предстояло разрешить. Для себя он их сформулировал так. Первая: было ли это самоубийство? Вторая: кто погиб первым, Фридеман или его жена? Само собой, напрашивался еще один вопрос: какая связь существует между двумя смертями?

— Вы так и не знаете, что это был за ключик, который ваш дядя носил в кармане отдельно от других? — спросил он.

— К сожалению, не имею ни малейшего представления.

Шельбаум посмотрел на часы.

— Я охотно продолжил бы беседу, — сказал он. — Но поздно. Не смогли бы вы завтра навесить меня в отделе? Там, возможно, для вас будет не так уютно, — добавил он, заметив тень, пробежавшую по ее лицу, — но там я такой же человек, как и здесь.

Она молча кивнула.

* * *

Когда инспектор Нидл вошел к Шельбауму, тот, разложив перед собой фотографии, протоколы и прочие документы, разглядывал их, покачивая головой.

— Дело становится запутанным, Алоис, — сказал Шельбаум. — Нам так и не ясно, что за человек был Фридеман. Прочтите-ка вот это место из акта обследования. Впрочем, оно не имеет никакого отношения к причине его смерти.

Нидл взял заключение и негромко прочитал:

— ...Шрам на внутренней стороне левого предплечья свидетельствует, по всей видимости, об удалении хирургическим путем куска кожи... — Он поднял голову. — Что это может означать?

— Это может означать, — мрачным голосом повторил обер-комиссар, — что до разгрома нацистов он был эсэсовцем. Им накалывали группу крови на внутренней стороне левого предплечья, чтобы в случае ранения не ошибиться и спасти их в первую очередь. Потом многие пытались освободиться от этого опознавательного знака, чтобы избежать разоблачения.

— Вы думаете, он был военным преступником? — нерешительно спросил Нидл.

— Этого я не утверждаю. Но, во всяком случае, его отношения с ССА наводят на эту мысль.

Услышав такой отзыв об организации, к которой принадлежал старший полицейский советник Видингер, Нидл почувствовал себя не в своей тарелке. Он перевел разговор на другую тему.

— Как обстоит дело с причиной смерти его самого и жены?

— Она задушена, он повесился, — коротко бросил обер-комиссар. — Можете забрать этот хлам с собой и на досуге почитать. Маффи надо также проинформировать.

— В таком случае все становится ясным, — произнес Нидл. — Убийство и самоубийство.

— Вы не видите одного, — с огорчением заметил Шельбаум. — Фридеман не убивал своей жены... Да, забыл, — добавил он, — у вас ведь своя версия.

— Возможно, и вы заблуждаетесь, — сказал Нидл. — Легко склоняешься к тому, во что веришь сам.

— Вот как? Тогда поясните мне, как же погиб этот Фридеман, — с иронией попросил Шельбаум. — Посмотрите-ка еще раз повнимательней на фотоснимок, особенно вот на этот. — Он достал фотографию, на которой четко выделялись следы краски на досках причальных мостков.

Инспектор пристально вглядывался в снимок.

— Если, допустим, вы вешаетесь, — сказал Шельбаум, — то к месту, где предстоит самоубийство, вы идете не спеша, мелкими шагами. Самоубийцы не торопятся. Ну а Фридеман? Он бежит длинными прыжками к причальным мосткам. Я еще раз замерил. Такие шаги делают только, когда бегут...

— Если это так... — пробормотал Нидл.

— Это так. Последнее желтое пятно удалено от конца мостков на добрых восемьдесят сантиметров. Если я вешаюсь, то становлюсь на самый край, накидываю на шею петлю и шагаю вперед. А что делает этот Фридеман? Он, точно выстреленная ракета, бросается головой в петлю, и... конец.

— Технически это невозможно, — возразил Нидл. — Петля ведь не могла быть открытой в форме круга. Она висела сомкнутой.

— Что вы говорите, Алоис? Здесь просто какой-то трюк...

— Никакого трюка, — сказал Нидл. — Здесь возможно совершенно простое объяснение. Фридеман действительно прошел до конца мостков, возможно, даже пробежал, чтобы быстрее покончить с собой. Он встал на край, точно так, как вы сказали, просунул голову и завис...

Шельбаум взглянул на него.

— А где же последнее пятно краски? Почему его нет?

— По-видимому, он на что-то наступил, что смазало краску. И это что-то потом исчезло и пока не найдено.

— Вы хотите разыграть меня? — раздраженно спросил Шельбаум. — Исчезло и не найдено? Что же это такое могло быть?

— К примеру, листочки с дерева, — ответил Нидл. — Осень же. Ветер сдул их в воду.

Шельбаум опустил на стул.

— Конечно, может быть, вы и правы, — сказал он устало. —

Но по всему, что мы знаем, Фридеман не относится к типу самоубийц, — заметил он. — Нет, Алоис, здесь что-то не так.

В кабинет постучали. В приоткрывшуюся дверь просунул голову Маффи и сказал:

— Господин Ланцендорф желает говорить с вами, господин обер-комиссар.

— Немного поздновато, но все же давайте его сюда, — проворчал Шельбаум. — Будет лучше, если я с ним останусь с глазу на глаз, — обратился он к Нидлу. — Послушайте из соседней комнаты, а я переключу микрофон.

Нидл покинул кабинет. Вошел Петер Ланцендорф. Он, казалось, был переполнен чувством мрачной решимости. Шельбаум предложил ему стул, а сам незаметно нажал кнопку микрофона.

— Вы были у фрейлейн Фридеман, — начал Ланцендорф, — а наутро вызываете ее сюда. Позвольте узнать причину?

— Я, правда, не подотчетен вам, — сказал обер-комиссар не без металла в голосе, — но, несмотря на это, не хочу держать вас в неведении. Хочу поговорить с ней о ее семье, знакомых, о ней самой...

— По душам? — с иронией спросил Ланцендорф.

— По-другому, пожалуй, невозможно, — ответил Шельбаум с легкой издевкой.

— Я вам не верю! Вы ее подозреваете...

— В чем же, позвольте узнать?

— Разговаривая с ней, вы утверждали, что Фридеман не убивал свою жену.

— Могу вас заверить, что я не питаю подозрений в отношении фрейлейн Фридеман. Наш завтрашний разговор будет служить лишь уяснению некоторых обстоятельств. Не понимаю, как она могла подумать нечто подобное.

Ланцендорф почувствовал, что переборщил, и стал защищать Карин.

— Она и не догадывалась. Это все я... Прошу меня извинить... — Он встал.

— Ну а какие у вас-то были причины думать, что я подозреваю фрейлейн Фридеман? — спросил Шельбаум.

Лицо Ланцендорфа приняло озабоченное выражение. Шельбаум кивнул на стул, и молодой человек вновь сел.

— Она должна сама сказать вам, — пробормотал он.

— Но не скажет, не так ли? — переспросил Шельбаум.

Ланцендорф кивнул.

— Следовательно, мы должны попросить вас, — сказал Шельбаум.

— Вы сами доберетесь, — произнес он наконец. — Я хочу лишь сказать, что Карин не принадлежит к тому же кругу людей, что ее дядя и ее тетя, а также к тем, кто с ними общался.

— Вам надо выразиться несколько яснее, — произнес обер-комиссар.

— Я имею в виду деловые отношения с клиентурой: размер процентов, условия, методы обеспечения и получения гарантий...

— Мягко говоря, он был мошенником?

— Сказать так, пожалуй, нельзя. Он все же придерживался закона. Но иметь с ним дело я бы не стал. В институте мы за-

нимаемся экономическим анализом и ведем досье по таким фирмам. Мы как раз не рекомендуем то, что делал Фридеман.

— Это интересно, — сказал Шельбаум. — Мы должны заняться прошлым господина Фридемана. Поскольку вы не хотите, чтобы ваша невеста была причислена к его единомышленникам, то можно сделать только один вывод: ее родственники обращались с ней не так хорошо, как она сама утверждает, и о подобных вещах она не имела понятия.

Ланцендорф встал и подал руку Шельбауму.

— Когда Карин придет к вам, пожалуйста, не касайтесь ее отношений с родственниками. Она считает себя обязанной им и не желает, чтобы на них падала тень.

Обер-комиссар обещал выполнить эту просьбу и проводил его до дверей приемной. Увидев Нидла, он спросил:

— Что вы думаете, Алоис?

— Кажется, он очень любит свою девушку, — сказал Нидл. «Он опять думает о своей жене, — отметил про себя Шельбаум. — Надо его отвлечь».

— Мы не институт по вопросам заключения брачных контрактов, — саркастически произнес он. — Я хотел бы знать, не пришло ли вам что-нибудь в голову в связи с этим убийством. Не замешан ли в нем клиент Фридемана, который совершил убийство как акт мщения.

— Боюсь, что вы на неправильном пути, — сказал Нидл, покачивая головой. — Вы видите вещи более сложными, чем они есть на самом деле.

Прежде чем Шельбаум успел ответить, дверь распахнулась, и бежал Маффи с листком бумаги в руках.

— Телеграмма из Мюнхена! — крикнул он. — По делу Бузенбендер с 1948 года существует решение земельного суда об аресте за пособничество и убийство после изнасилования. Суд будет настаивать на выдаче.

Шельбаум вырвал у него из рук телеграмму. Он вдруг почувствовал, насколько был измотан. Судьба Бузенбендер пробудила в нем чувство сострадания. Ответить на вопрос о ее вине было не так просто, но теперь ее путь окончательно вел в пропасть.

Зазвонил телефон. Нидл поднял трубку. Затем он доложил Шельбауму:

— Жандармский пост в Гантерне. Схвачен Деттмар. Попытался перейти границу с Италией.

Шельбаум шумно вздохнул.

— Последние дни вы, Алоис, почти не отдыхали, — сказал он, — но, к сожалению, никого другого послать нельзя. Надо выехать сегодня же ночью и забрать этого Деттмара...

Он вновь вздохнул.

— ...и, возможно, там разузнать о Фридеманах. Они уроженцы Гантерна.

* * *

— Я еще раз пригласил вас к себе, дорогой Шельбаум, — сказал шеф отдела безопасности с предупредительной улыбкой. — Думаю, что господин старший прокурор имеет сообщить вам нечто важное.

Прокурор, низкорослый плешивый мужчина, с густыми черными бровями и толстыми губами, посмотрел на обер-комиссара зло, как будто он был преступником, против которого возбуждалось судебное дело. Шельбаум склонил голову.

— Вы расследуете случай Фридемана, — сказал старший прокурор резким тоном, принесшим ему известность. — Мне не совсем ясно, что или кого вы ищете.

— Убийцу, господин старший прокурор, — сказал Шельбаум.

— Разве он не висел на суку на берегу Старого Дуная? — Голос прокурора был полон сарказма.

— Убийца? Я сомневаюсь в этом, — ответил Шельбаум.

Шеф отдела безопасности улыбался. Кто был близок с ним, тот знал, что эта улыбка ровным счетом ничего не выражала. Она была неременной официальной миной, как и раздраженный тон старшего прокурора.

— Обер-комиссар Шельбаум принадлежит к нашим самым способным криминалистам, — сказал шеф.

— Вам нет нужды напоминать мне об этом, — проворчал старший прокурор. — Мы давно знаем друг друга. Три года назад он занимался делом Гаретти, в котором был замешан некий доктор Граудек из Восточной Германии. Я представлял обвинение против Саронне.

— Он получил всего лишь шесть лет, — сказал Шельбаум.

Старший прокурор пожал плечами.

— Это было убийство в драке, а не умышленное убийство, — возразил он. — Но вернемся к делу Фридемана. В сущности, оно меня не касается, или, вернее, пока не касается. Этим делом должен заняться судебный следователь, если у него есть желание вмешиваться... Наша встреча связана вот с этим, — сказал он, протягивая Шельбауму письмо. — Эту анонимку я получил сегодня утром.

Обер-комиссар вынул из конверта две записки. В одной на машинке было напечатано: «Процесс Занфтлебена, 8—10.1959 г., расходы на свидетельские показания через Вальтера Фридемана».

На другом листке, по-видимому, вырванном из блокнота, было написано несколько слов шариковой ручкой. Записка содержала дату встречи с некой Жозефой, бывшей, по-видимому, любовницей автора записки. Ее за что-то отблагодарили флаконом духов. Затем следовала приписка: «По поручению ХИАГ* за свидетельское показание Федербуша выплачено 1000 марок».

— Лжесвидетельство, — сказал Шельбаум. — Что поделяет сейчас этот Федербуш?

— Насколько мне известно, он умер три года назад.

— А Занфтлебен исчез из Австрии после того, как его оправдали, — задумчиво произнес Шельбаум. — Эсэсовский обер-фельдфебель выгораживал штурмбаннфюрера войск СС Занфтлебена на процессе, где дело шло об убийстве более тысячи евреев во время войны. Нечто подобное случалось и прежде, господин старший прокурор.

* ХИАГ (Сообщество взаимопомощи бывших солдат войск СС) — откровенно фашистская организация в ФРГ, объединяющая в своих рядах свыше 40 тысяч бывших эсэсовцев.

С натянутой улыбкой шеф отдела сказал:

— Такие вещи вы, дорогой Шельбаум, уж очень близко принимаете к сердцу. То, что мы получили, с успехом может оказаться и фальшивкой.

— Я считаю эти документы подлинными, — ответил Шельбаум. — Мы имеем достаточно сравнительных материалов. Я передам это эксперту по графической экспертизе.

— Сделайте так, — сказал старший прокурор. — Возможно, выяснится, что приговор по процессу все же был правильным. Во всяком случае, вы должны выяснить прошлое господина Фридемана. Мне это кажется самым важным...

— Мы ничего не упустим, — сказал Шельбаум, поднимаясь. — Автор письма играет, на мой взгляд, немаловажную роль. Откуда он получил материалы и какие причины побудили его послать их господину старшему прокурору?

Когда Шельбаум вернулся в свой отдел, в приемной его уже ждала Карин Фридеман. Он отдал Маффи распоряжение — не впускать к нему других посетителей, а секретаршу Зуси попросил заварить ему крепкий кофе. Затем пригласил Карин.

Когда принесли кофе, Карин уже рассказывала о своем детстве. «Бедное дитя, — думал Шельбаум. — Выросла в детском доме без родителей, да и у Фридеманов во время каникул ее не очень баловали». Хотя она и не вдавалась в детали, обер-комиссар быстро подметил, что в доме дяди ее только терпели. Подчиняясь настояниям своих родственников, она почти не встречалась с друзьями Фридеманов. Она была бегло знакома с Деттмаром, случайно виделась с Коваловой. Единственный, с кем она была на дружеской ноге, был Фазольд. Он да Лиза Хеттерле уделяли ей немного человеческого тепла.

Шельбаум смотрел на крышку письменного стола.

— Вы знаете, что Хеттерле за пособничество в убийстве разыскивается мюнхенской полицией? — спросил он тихо.

Подняв голову, он увидел плачущую Карин.

— Что вам известно о прошлом вашего дяди? — осторожно спросил он.

— Почти ничего, — ответила девушка. — Тетушка рассказывала мне кое-что, но это было давно. Думаю, она и сама не имела представления о том, чем он занимался до 1947 года, когда они поженились.

Шельбаум кивнул. Брачное свидетельство они обнаружили в стенном сейфе вместе с другими бумагами, которые были подлинными.

— Мой дядя еще молодым человеком уехал из Гантерна и в Вене изучил граверное дело...

Она рассказала, что он, будучи членом республиканского шуцбунда, принимал участие в февральском восстании 1934 года против правительства Дольфуса. Затем он бежал в Чехословакию, боролся в Испании против Франко, а позднее был интернирован во Францию. Там он был арестован фашистами и посажен в концлагерь Заксенхаузен. Конец войны застал его в концлагере Эбензее. Возвратясь в Вену, он основал, как только прошла сумятица послевоенных лет, кредитное бюро «Деньги для каждого».

Это была та же биография, какой она могла быть воспроизведена на основе документов, найденных в стенном сейфе. Довольно четкая картина, за исключением первых послевоенных лет, относительно которых не было ясно, на какие средства Фридеман существовал.

— Все это вы узнали от своей тетушки? — еще раз спросил Шельбаум.

— Да, мой дядя об этом никогда не говорил.

— Известно ли вам о его контактах с ССА?

Карин кивнула.

— Этого я не понимаю, господин Шельбаум, — сказала она печально. — Побывать в концлагере, а потом связаться с этой публикой. Все же он был хороший человек, мой дядя. В этом вы должны мне поверить.

Шельбаум подумал о просьбе Ланцендорфа не касаться некоторых вещей и решил пока отложить некоторые вопросы. Он поблагодарил Карин за визит и проводил ее в приемную. Там он увидел Эвелин.

— Она кое-что знает о Фридемане, господин обер-комиссар, — ответил Маффи на удивленный взгляд Шельбаума. — Ей это кажется настолько важным, что она хотела бы поделиться с вами.

Шельбаум открыл дверь в свой кабинет и рукой сделал приглашающий жест. Эвелин грациозно засеменила в кабинет, что вызвало улыбку обер-комиссара. Войдя в кабинет, она села перед письменным столом.

— Вы, фрейлейн Дзура, хотели нам что-то сообщить о господине Фридемане? — спросил Шельбаум, приготовив магнитофон к записи.

— Не знаю, насколько это важно, — медленно начала девушка, — но Эдгар считает, что я должна об этом сказать. В начале июля я видела господина Фридемана на Ирисзее. Он стоял вместе с женщиной, фотоснимок которого был два дня спустя помещен в газете.

— Почему его фото появилось в газете?

— Его нашли застреленным в Лобау.

Шельбаум прямо-таки подскочил.

— Это мог быть только Плиссир!

Вместо Эвелин ответил Маффи:

— Да, это был господин Плиссир из французской разведки.

Шельбаум погрузился в размышления. Не очень-то он жаждал сотрудничества с тайной полицией, которая дело об убийстве Плиссира поручила особой комиссии. С тех пор как комиссия начала работать, следствие было засекречено.

— А о другом, Эвелин, — подсказал Маффи.

Эвелин потушила сигарету и продолжала рассказ.

— Это было несколько дней спустя, — сказала она. — Я лежала в шезлонге в глубине нашего сада. В это время вдоль ограды проходил господин Фридеман с женщиной. Они остановились очень близко от меня, но мы не видели друг друга, так как между нами была живая изгородь. Мужчина сказал: «Не мешало бы вам сходить на его похороны». Он говорил с американским акцентом. А господин Фридеман ответил: «Если вы

пожертвуете венок». Тогда они оба рассмеялись, а господин Фридеман сказал: «Желаю отличного полета, Каррингтон». Затем они расстались.

— Каррингтон? — не выдержал Шельбаум. — Вы сказали Каррингтон?

— Да, — подтвердила Эвелин. — Во всяком случае, так прозвучала его фамилия.

— Вам надо было рассказать нам об этом раньше, — произнес Шельбаум хриплым голосом.

— Почему? — спросила Эвелин.

Шельбаум сознавал справедливость ее вопроса. Пока Фридеман был жив, не было причины видеть во всем этом нечто подозрительное.

Когда Эвелин ушла, Маффи спросил:

— Вы считаете, что Каррингтон — тот человек, которого югославы выслали за работу на ЦРУ?

— Все возможно, — сказал Шельбаум. — Но теперь я желаю одного, чтобы это дело не висело на мне!

Маффи подумал, что при меньшем упорстве он давно бы мог покончить с этим делом сам.

* * *

Когда Нидл добрался до Гантерна, было около трех часов ночи. Он разбудил хозяина отеля «Голубая гроздь» и потребовал номер для себя и шофера, наказав разбудить его в семь утра. Когда в восьмом часу он спустился в гостиную, здесь за завтраком уже сидел инспектор Бурдан. Нидл представился ему и спросил о задержанном Деттмаре.

— Это чистая случайность, что он попался в ловушку, — сказал Бурдан. — Случайность и маленькое недоразумение.

И Бурдан рассказал, как он задержал Деттмара.

— Он подлежит нашей компетенции, — продолжал он. — По-видимому, беглец имеет какое-то отношение к террористам. Но пока я его еще не расколол. Когда закончите свою работу с ним, можете вновь передать его нам.

— Связи террористов, кажется, довольно широки, — заметил Нидл.

Бурдан кивнул.

— Они все время подогреваются из Западной Германии, — сказал он. — Вчера я допрашивал старика Леенштайнера. Из него не вытянешь ни одного слова. А его сын, с которым меня перепутал Деттмар, бежал. Конечно, в доме есть женщины, и если их расшевелить, то можно многое узнать. К примеру, я теперь знаю, что у итальянцев вновь что-то затевается.

— Вы их предупредили?

— Разве это моя обязанность? — спросил Бурдан, вскинув брови. — Я сообщу в Инсбрук, оттуда передадут в Вену, а остальным займется министерство иностранных дел.

— Не будет ли тогда слишком поздно? — спросил Нидл.

— Я придерживаюсь служебного канала, — ответил Бурдан.

Нидл молчал. Даже для него, мало интересующегося политикой, стало очевидным, что столетняя вражда между Австрией и Италией не потухла, а вновь и вновь подогревается определенными силами с обеих сторон.

— Пойдемте в жандармское отделение, — сказал Бурдан. — Старика Леенштайнера я прихвачу с собой в Инсбрук. Детмара оставляю вам вместе с протоколом.

До жандармского отделения было всего несколько шагов. Из имеющихся трех камер две находились в ремонте, так что Леенштайнер и Детмар сидели в одной камере. Детмар провел беспокойную ночь. Старик проклинал его на все лады и взял с него обещание — ни единым словом не выдавать связей с людьми, симпатизирующими террористам. Иначе для него все закончится плохо. Детмар понял, что попал из огня да в полымя. Впутаться в дела террористов было еще хуже, чем оказаться в одной компании с Фридеманом.

Войдя в камеру, Нидл предъявил Детмару приказ об аресте, в котором говорилось лишь об угоне автомашины. Затем он попросил дежурного жандарма покараулить Детмара, пока он не покончит с другими поручениями.

Нидл направился в здание местного самоуправления, чтобы кое-что разузнать о Фридеманах. Однако молодой бургомистр общины не принадлежал к местным жителям, и Нидл решил попытать счастья у местного священника.

Его преподобие Даубенбергер срывал в саду последние груши, когда появился Нидл, и тотчас же выразил готовность поговорить с ним. Он пригласил его в дом и поставил перед ним стакан вишневой наливки. Нидл выпил, и из глаз его брызнули слезы.

— Это от моего собрата из Тоблаха, или, как говорят сегодня, из Доббияко, — сказал, улыбаясь, священник. — Так вы хотели узнать о Фридеманах?

Одним духом он выпил содержимое стакана.

— Когда я приехал в Гантерн, это было в 1925 году, Фридеманы жили в небольшом домике там, на склоне. Семья состояла из трех лиц: лесоруба Антона, главы семьи, Иоганна, его старшего сына, работавшего на лесопилке, и Вальтера, младшего сына, только что окончившего школу. Мать умерла рано. Можете себе представить, что творилось в их доме.

Нидл решительно отказался, когда священник хотел налить ему второй стаканчик.

— Для Вальтера Фридемана — он был разбитным малым — тогда было только два пути. Или наняться на работу, вроде своего отца и брата, или покинуть Гантерн. Он предпочел последнее. — Даубенбергер вздохнул. — Его преподобие Ангеттер, тогдашний священник, старался подыскать для парня подходящее место, где бы он мог получить специальность. При его посредничестве Вальтер Фридеман уехал в Вену, изучил граверное дело и там попал в плохую компанию.

Его преподобие Даубенбергер позволил себе выпить еще один стаканчик наливки.

— Позднее мы о нем, слава богу, ничего не слыхали. Отец его умер, когда началась война. Надо признать, что он неспра-

ведливо обращался со своим старшим сыном. Или вы считаете правильным, если отец противится женитьбе своего сына, которому уже за тридцать?

— Об этом я еще не подумал, — дипломатично ответил Нидл.

— Мария Энцингер была порядочной девушкой, но старик из-за клочка луга рассорился с ее родителями и поэтому отказался дать свое благословение на брак. Иоганн смирился. Он женился лишь тогда, когда старик умер. Но вскоре был призван в армию, отправлен во Францию, затем в Россию. После нескольких ранений вернулся домой инвалидом. Когда крестили малышку Карин, его уже не было в живых. А Мария умерла через две недели после родов.

Его преподобие громко высморкался.

— Ребенка отдали сестрам милосердия в Инсбрук. Припоминаю, как сильно сердился на меня бургомистр Польдингер, когда общине надо было ежегодно вносить за ребенка небольшую сумму. Ведь инициатором всего этого дела был я. Польдингер — да упокой его душу всевышний — все время пытался освободиться от этих взносов. Насколько я припоминаю, это ему удалось. — Священник впал в крайнее возбуждение. — Уж не сыграл ли здесь роль младший Фридеман? Он ведь вновь объявился после войны...

Нидл пристально посмотрел на священника.

— Он вернулся в Гантерн?

— Не он, а его жена. Польдингер добился того, чтобы она взяла на себя заботу о ребенке. Она забрала его от сестер милосердия. Что стало дальше с девочкой, мне неизвестно.

— Карин Фридеман была помещена в государственный интернат в Гарце. Недавно она получила аттестат зрелости и теперь намерена продолжать учебу, — ответил Нидл.

— А почему вы хотите что-то разузнать о ее родственниках? Не замешана ли Карин в чем-то греховном?

— Сохрани боже, — воскликнул Нидл. — Это связано с ее дядей и ее тетушкой. Оба они погибли при странных обстоятельствах. Разве вы не читаете газет и не слушаете радио?

— Пороки суетного мира меня не интересуют, — сказал его преподобие Даубенбергер, и Нидл непроизвольно бросил взгляд на бутылки вишневого наливки. — Что касается этого Вальтера Фридемана, то я уже тогда предрекал, что он плохо кончит.

Нидл достал из кармана фото.

— Это он?

Даубенбергер пожал плечами.

— Возможно, да, возможно, нет. Прошло много времени с тех пор, как я видел его в последний раз.

Нидл вернулся в жандармское отделение. Целая толпа любопытных глазела, как он выводил Деттмара в наручниках к автомашине. Едва устроившись в кабине, Деттмар начал канючить, что его арест простое недоразумение.

— Тогда вы по ошибке обратились и к террористам? — спросил Нидл.

Деттмар вспомнил предупреждение старика Леенштайнера и смолк. После этого поездка протекала тихо и спокойно, и инспектор не мог пожаловаться на поведение своего пленника.

— Нам надо совершить небольшую поездку в «Черкесский бар» на Бертлгассе, — сказал после обеда Шельбаум. — Правда, немного рановато, но все равно будет интересно. Я вам обещаю.

Маффи заказал автомашину, и четверть часа спустя они остановились почти на том же самом месте, где останавливался на «фольксвагене» Деттмар. Они воспользовались тем же входом и через коридор прошли в конторку, дверь которой по их звонку открылась автоматически. Ковалова восседала за письменным столом и читала газету.

— Чему я обязана, господин обер-комиссар? — спросила она. Фамильярность ее обращения была равносильна вызову.

Шельбаум, казалось, этого не заметил.

— Когда вы позавчера посетили фрейлейн Фридеман, вы уже знали, что Вальтер Фридеман мертв. Не могли бы вы еще раз повторить, кто вам об этом сообщил?

Ковалова посмотрела на него с удивлением.

— Разве вы забыли? — спросила она. — Мне позвонил господин Деттмар.

— Вы точно помните?

— Поскольку я не в зале суда, мне нет нужды клясться, — с усмешкой произнесла Ковалова. — Во всяком случае, это был Деттмар. Разве только...

— Я весь внимание, — сказал Шельбаум, когда она зашлась.

— ...разве только кто-то по телефону имитировал его голос.

— Тогда он и представился под именем Деттмара, — медленно сказал Шельбаум.

— Само собой разумеется.

Обер-комиссар кивнул Маффи, и тот начал стенографировать.

— Но мужской голос от женского вы, наверное, отличить сможете? — спросил Шельбаум.

— Наверное.

Шельбаум пристально посмотрел на нее.

— Следовательно, вам позвонил мужчина?

— Я уже сказала, — ответила Ковалова с нотками нетерпения в голосе.

— Определенно не фрейлейн Фридеман?

Если Ковалова разыгрывала удивление, то делала это мастерски.

— Разве я когда-нибудь это утверждала? — воскликнула она.

— Не вы, а господин Фазольд, — сказал Шельбаум.

Ковалова натянуто улыбнулась.

— Не знаю, как он додумался до этого, — сказала она. — Господин Фазольд заходил утром, приносил эскиз афиши. По-видимому, вы видели снаружи у входа, что мы вновь открываем заведение десятого октября. Если вам позволит время, то, возможно, и вы нас посетите?..

— Мы говорили о господине Фазольде, — прервал ее Шельбаум.

— С господином Фазольдом я вообще об этом не говорила. Ведь я и сама еще не знала. Господин Деттмар позвонил, когда господин Фазольд уже ушел от меня.

— Фридеман и Фазольд встречались в вашем ресторане?

— Вы угадали. Когда я открыла «Черкесский бар» — это было, позвольте вспомнить, в пятьдесят шестом году, после заключения государственного договора, — они иногда бывали и здесь...

— Вы имели деловые контакты с Фридеманом?

— Не имела никаких до получения кредита, который он мне полгода назад дал на расширение заведения.

— Под большой процент?

— Кредиты никогда дешевыми не бывают.

— Как относились друг к другу Фазольд и Фридеман?

— Они были в дружбе с давних пор. Думаю, что их дружба тянется со времени концлагеря, где они были вместе.

Шельбаум задумался. Для него явилось неожиданностью, что Фридеман и Фазольд давно знали друг друга. Если это так, то через Фазольда определенно можно кое-что узнать о прошлом Фридемана. Почему же Карин об этом ничего не сказала? Он пытался припомнить разговор с ней. Ее вины здесь не было — о чем спрашивали, о том она и говорила.

Ковалова откинулась на спинку кресла.

— Смею я, комиссар, также спросить вас кое о чем?

— Пожалуйста.

— Что вы хотите от меня?

— Выяснить некоторые противоречивые моменты.

— Какой смысл в этом? Ведь Фридеман задушил свою жену, а затем покончил с собой.

— Вы так думаете?

— Не только я.

— Все не так просто.

— Не впутывайте меня в эту историю, комиссар, — сказала Ковалова приглушенным тоном. — Я не имею с этим ничего общего. Если Фридемана кто-то убил, то я могу лишь поздравить убийцу. Фридеман был мерзким субъектом и свою смерть заслужил не однажды.

— Следовательно, вы о нем знаете?

— Ничего не знаю, но убеждена, что вы, если захотите, раскопаете предостаточно.

— Скрывая информацию, вы нарушаете закон.

— Я не могу вам сказать более того, что знаю.

Шельбаум начал закипать.

— У вас французское подданство, вы лишь гость в нашей стране. Может легко случиться, что вас лишат разрешения на жительство.

Ковалова рассмеялась.

— Вы угрожаете мне высылкой. Тем самым вы хотите принудить меня к ложным показаниям. У меня даже есть свидетель, ваш молодой человек. Я могу на вас пожаловаться.

Шельбаум впал в ярость от такой наглости, но тут же овладел собой.

— На вашем месте я был бы более осторожным. В пятьдесят

восьмом году вы были очень близки к высылке. Не помните ли вы аферу с укрывательством похищенного столового серебра?

— Я была невиновна!

— Все же та афера стоила вам двух месяцев тюрьмы и денежного штрафа.

— Я была невиновна, — повторила Ковалова. — Они вынуждены были дать мне испытательный срок...

— Это не доказательство вашей невинности.

— Вы не имеете права обвинять меня. Один раз в жизни может не повезти...

— Один раз? — Шельбаум рассмеялся. — Вы явно не сильны в устном счете.

— То есть?

— В архивных материалах я нашел старый циркуляр, — поделовому продолжал Шельбаум. — Я не хочу вас упрекать в том, какую жизнь вы вели в Берлине и Париже между двумя войнами. Но что произошло в Англии? Разве вы не работали переводчицей в информационном управлении министерства военно-морского флота?

На лице Коваловой не дрогнул ни единый мускул.

— Год тюрьмы за халатность в сохранении тайны информации, — продолжал Шельбаум. — Считайте, что вам тогда повезло, — суду не удалось доказать сознательную передачу материалов нацистам.

У Маффи захватило дух. То, что раскопал старик, было действительно сенсационно.

— Вы говорите о вещах, которые вас не касаются, — высокомерно произнесла Ковалова.

— Мы можем более подробно проследить ваш жизненный путь. То, чем вы занимались на черных рынках, оставило заметные следы в полицейских архивах. К ним приплюсовываются два месяца содержания под арестом. Не так мало, чтобы выдавать себя за святую невинность...

— Я вам все рассказала, что знала, — без всякого выражения произнесла Ковалова. — Есть еще вопросы?

Она держалась с внушающим уважение достоинством, и уход Шельбаума с Маффи не выглядел столь триумфально, как рассчитывал обер-комиссар.

— Детмар сидит в камере, — сказал встретивший их Нидл. — Привести его сюда?

— Сегодня нет, — устало произнес Шельбаум. — Доложите кратко, Алоис, что вам удалось узнать. И на этом сегодня закончим.

Выслушав доклад Нидла, он сказал:

— Тайна этого Фридемана должна быть связана с его пребыванием в концлагере.

* * *

Два дня Кёрнер ждал появления Риктбергера, но пока от того не было вестей. Кёрнер не раз спрашивал себя, было ли справедливо с его стороны требовать удвоенную сумму. Чутье подсказывало ему, что дело обещает уйму денег. Возможно, они заплатят даже и больше.

Он заметил настойчивость, с какой они хотели заполучить папку. Или он ошибается? Ритцбергер хотел его обмануть. Не лучше ли было забрать хоть эти деньги? Но Ритцбергер пытался его прижать и нарушил кодекс чести, который гласил: дал слово — держи. Нет, все, что он делал до сих пор, было правильно. Но он мог при этом и все потерять. Тогда и сто шиллингов, которые он уплатил Фердлу-Оплеухе, и те сто, которые ему обещал, также будут для него потеряны.

Ловкий взялся было за электробритву, как раздался стук, и скрипучий голос хозяйки прокричал:

— Тебе звонят, Руди!

Кёрнер подошел к телефонному аппарату и схватил трубку. Он вздохнул с облегчением. Это был Ритцбергер, который деловым тоном спрашивал, где может состояться встреча. Ловкий долго размышлял, как ему поступить, и наконец велел Ритцбергеру прийти к автобусному парку на Южнотирольской площади. После разговора он набрал номер и дал знать Фердлу-Оплеухе, что ему предстоит работа. Насвистывая, он вернулся к буфетной стойке и разрешил себе выпить двойную порцию коньяка.

Около половины первого Кёрнер сидел на остановке, там, где автобусы делали поворот к аэропорту. В это время здесь бывало почти безлюдно, зато напротив, на Виднеровском кольце, царило оживление. Кроме того, через скамейку от него занимал свой пост Фердл.

Ловкий огляделся. Мужчина в берете и кожаном пальто изучал расписание движения и делал какие-то пометки. Больше никого вблизи не было видно. Когда большая стрелка электрических часов достигла половины первого, Кёрнер увидел Ритцбергера, пересекавшего улицу. Он продолжал сидеть и не поднялся даже тогда, когда тот остановился перед ним.

Ритцбергер сел рядом и с подозрением спросил:

— Почему вы не захватили папку? Что-нибудь случилось?

Ловкий ухмыльнулся.

— Не буду же я эту ценную вещичку повсюду таскать с собой, — сказал он. — Не хватало еще, чтобы у меня ее украли.

Но Ритцбергер не оценил юмора.

— Где папка? — спросил он.

— В одном багажном отделении на Южном вокзале, — ответил Кёрнер, указав в сторону вокзала позади себя.

Ритцбергер помрачнел.

— Вы мне не доверяете!

Кёрнер кивнул.

— Ключ при себе?

— Естественно. Вот он.

Кёрнер помахал ключом, но на таком расстоянии от Ритцбергера, чтобы тот не мог схватить его.

— Я должен верить вам, что папка в багажном отделении? — спросил Ритцбергер.

— Я-то вас не обманываю, — ответил Кёрнер, пряча ключ в карман.

— Согласен. Вы себе не можете этого позволить, — сказал Ритцбергер. — Для вас это дорого бы обошлось.

— Хорошо, — радостно вздохнул Кёрнер. — Тогда можем вернуться к нашему делу. Отсчитывайте деньги, но делайте это незаметно.

Ритцбергер достал конверт из внутреннего кармана пальто. Вынув пачку денег, он на глазах Кёрнера начал их пересчитывать.

— Но здесь только пять тысяч, — удивился Кёрнер, когда тот кончил считать.

— Мы ведь договаривались о пяти тысячах, не так ли? — удивился, в свою очередь, Ритцбергер.

— Это было до того, как вы пытались меня надуть, — возмущился Кёрнер. — Теперь вы должны уплатить десять тысяч. Иначе вы не увидите папки!

Ритцбергер озабоченно посмотрел на него.

— У меня нет десяти тысяч, — признался он с большим сожалением. Это сожаление, как ни сгранно, прозвучало искренне. — Отдайте мне папку за пять. Ведь и они для вас хороший гешефт.

— Ни за что! — разъярению крикнул Ловкий. — Один раз вы меня обманули. Второй раз этого не случится.

Ритцбергер кусал губы. «Он еще достанет денег», — торжествующе думал Кёрнер.

— У меня нет десяти тысяч, — мрачно повторил Ритцбергер. — А папку я должен иметь. Очень сожалею, но остается один выход.

Он спрятал деньги, затем повернулся. Мужчина в кожаном пальто потерял интерес к расписанию и наблюдал за ними. Ритцбергер кивком подозвал его. Кёрнер не успел опомниться, как ему под нос сунули слишком хорошо известный жетон.

— Уголовная полиция, — сказал мужчина.

— У него ключ от багажного отделения, где хранится папка, — пояснил Ритцбергер.

— Давайте ключ! — приказал мужчина.

Сбитый с толку, Кёрнер подал ему ключ. Ритцбергер взял его и спокойно ушел вместе с мужчиной.

В состоянии полной растерянности Кёрнер продолжал сидеть на скамейке, когда к нему подошел Фердл-Оплеуха.

— Все в порядке? — спросил он.

Ловкий захныкал. Он все еще не мог уразуметь, что произошло.

— Ты знаешь, кто были эти оба? — жалостливо спросил он. — Они из уголовной полиции. Я же догадывался, что здесь что-то не так!

Фердл сидел рядом и слушал. Его тупой мозг медленно начал соображать.

— Он забрал у меня ключ от багажного отделения, — бушевал Ловкий. — Ну что я мог поделать?

— Но почему только ключ? — спросил Фердл. — Он должен был и тебя самого прихватить.

Ловкий подскочил на месте. Мгновенная догадка пронзила его.

— Но ведь он имел настоящий жетон! — крикнул он.

— С номером? — спросил Фердл.

Кёрнер уставился на него. На номер он не обратил внимания. Фердл прав. Настоящий криминалист действовал бы иначе.

— На вокзал! Бежим на вокзал! — крикнул он сдавленным голосом. — Мы еще их там захватим.

Сопровождаемый Фердлом, он бросился к вокзалу. Но когда они подошли к багажному отделению, то увидели торчащий в замке ключ и открытую дверцу.

— Слишком поздно! — глухо произнес Ловкий.

Он почувствовал дрожь в коленях и в полном изнеможении прислонился к стенке.

— С тебя причитается сто шиллингов, — сказал Фердл.

Кёрнер молча порылся в портмоне и протянул ему кредитный билет.

Перевел с немецкого А. САЕССИН
Окончание в следующем выпуске



На I—IV стр. обложки рис. Ю. МАКАРОВА

На II стр. обложки и на стр. 2 и 47 рис. Ю. МАКАРОВА к повести Ю. Пересунько «В ночь на двадцатое»

На III стр. обложки и на стр. 64 и 127 рис. Г. ЛУКЬЯНЦА к роману Гюнтера Шпрангера «На прекрасном голубом Дунае»

На стр. 48 и 63 рис. Г. ФИЛИППОВСКОГО к рассказу А. Торосова «Следующий день»

Редакционная коллегия: А. Г. АДАМОВ, А. П. КАЗАНЦЕВ, А. В. НИКОНОВ, А. А. НОДИЯ, В. М. ЧИЧКОВ

Редакторы выпуска: В. РЫБИН, Ю. ПЕРЕСУНЬКО

Художественный редактор Т. ПРОКУДИНА

Технический редактор А. БУГРОВА

Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Адрес редакции: 125015, Москва, Новодмитровская ул., 5а.
Тел. 285-80-10, 285-88-84.

Сдано в набор 15.11.78. Подп. к печ. 8.01.79. А03505.
Формат 84×103¹/₃₂. Условн. печ. л. 6,72. Уч.-изд. л. 9,8.
Тираж 250 000 экз. Цена 40 коп. Заказ 2135.

Типография ордена Трудового Красного Знамени изд-ва
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 103030, Москва, К-30,
Суцевская, 21.



Юрий ПЕРЕСУНЬКО—В ночь на двадцатое

А. ТОРОСОВ—Следующий день

Гюнтер ШПРАНГЕР—На прекрасном голубом Дунае

Цена 40 коп.

